



МИХАИЛ ОДНОБИЛ
ВЕРОНИКА КУНГУРЦЕВА

ТРАНЖ ВИЛИН

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

ГОРГОДЕШ

Михаил Однобибл
Вероника Юрьевна Кунгурцева
Транквилин (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=44137552

Транквилин: ИД «Городец»; М.; 2019

ISBN 978-5-907085-09-1

Аннотация

В состав сборника входят две повести и два рассказа, объединенные общей темой, мужским и женским взглядом на одно чувство. И романтический «Сад», и радикальный «Транквилин», и парадоксальная «Колония», и почти документальные «Два монастыря», – так или иначе повествуют о любви.

«В повести “Сад” символика естественно перекликается со зримыми и знакомыми, порой даже brutальными реалиями нашего сегодняшнего быта, – в этом один из приемов прозы, искусной и самобытной. (...) Рассказ “Транквилин” – яркий образец игровой, модернистской прозы. (...) “Колония” – вовсе не антиутопия, как кажется на первый взгляд, возможно, это наше восприятие окружающей действительности» (Александр Рекемчук).

Содержание

Сад	5
1	5
2	30
3	54
4	88
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Михаил Однобибл, Вероника Кунгурцева Транквилин

© Однобибл М., Кунгурцева В., 2019

© ИД «Городец», 2019

* * *



Сад



1

Сон был тяжелым. Она сразу перебралась на соседнюю кровать и легла так, чтоб перед глазами была стена – не окно. Думала, не заснет, и не хотела спать, хотела дожидаться первого света, чтоб успеть привести себя в порядок, боялась, что он проснется раньше и застигнет ее спящей – некрасивой; она знала, что некрасива, совсем уж некрасива, когда спит. Кровати (железные, с панцирными сетками, с длинными ножками на блестящих колесиках, со спинками, как окна, сквозь которые можно смотреть друг на друга) стояли под прямым углом одна к другой – шаг был между ни-

ми, шаг, равный окну; над его ногами висела расхлябанная книжная полка с растрепанными томами, со стопкой выкроек, вырванных из журналов, над ее – слишком большая для такой комнаты картина, вправленная в витую бронзовую раму с изображением ренессансного пейзажа (откуда она взялась, никто не знал). Лица его она не видела, бугор туловища под одеялом – спиной к ней. «Куда ты...» – сказал он, когда она выбиралась из тепла. «Зачем ты?» – сказал еще. Она дождалась, чтобы он заснул, – и только тут напряжение, как лед, сковывавшее всю ее, раскололось, она вздохнула свободно, с облегчением, но думать еще не могла.

И заснула, и во сне барахталась в холодной тьме среди обломков стремительных льдин.

Проснулась от ужаса – давно уже было светло, увидела его, спящего: лицо светлеет за серебристой решеткой кровати, поднимет голову – увидит ее... Попыталась встать, чтоб не скрипнуть сеткой, но ничего не получилось... Он вздохнул во сне, зачмокал губами – она замерла, босая, на полу: глаза его были закрыты – нырнула поскорее в спасительный кокон халата, села к окну.

Закинула шторку из тюля за спину – стекала по спине, как фата. Она этого не видела.

На подоконнике в разноцветном беспорядке: банки, баночки, тюбики – с кремом, тушью, помадой, пудрой, – всё наполовину использованное, затасканное, без крышек и крышечек, посередине – круглое, неустойчивое зеркальце;

прислонила его к стакану с мутной водицей и занялась своим лицом.

Неудобно пригнувшись, она видела бледное лицо в зеркальце и не видела побледневшего окна, да и лицо она видела постольку-поскольку, вся обратившись в слух и заплечное зрение.

Она поняла: не успела – кровать длинно заскрипела (глаза в зеркале сделали стойку).

Она слышала, как он спускал на пол ноги, искал одежду, наигранно удивляясь: «И куда всё запропастилось...» – одевался, потом подошел к ней, положил на ее согнутую спину руки; новый, не стиранный еще тюль колот его ладони; она была точно в кольчуге – в кольчуге из тюля.

– Ты встала уже?

Она кивнула два раза, размеренно, как «тик-так».

Руки попытались повернуть ее к себе – она уперлась ступнями в плинтус, как в педали машины (уехать бы, исчезнуть бы). Руки сдались. Он, растерянный, стоял за ее спиной.

– Мне уйти?

Она нагнула голову, поправляя соскальзывавшее зеркало, и через мгновение тишины услышала, как он уходит.

Он прошел мимо окна, не повернув головы. Подбородок ее дрогнул, углы губ растянулись – она покачала головой и зевнула.

Пятно окна долго не прояснялось; она глядела в него, как в твердь зеркала, в зеркале отражалась прошлая ночь.

Он пришел попросить дров. Он снял домик – да, та развальяха по дороге к водопаду; нет, он за нее ничего не платит – смешно было бы; да ему и нечем, жил у знакомых в городе – подыскивал варианты, здесь хорошо, то, что ему нужно: горы, природа, никто его не знает, он, собственно, затем и ехал из Москвы – полного одиночества захотелось, устал, устал, устал от всего. Сколько дров нужно? Ну, хотя бы на день, погода была прекрасная, а тут такое началось – не успел запастись дровами, сидит теперь у себя в берлоге, зубами лязгает – плохо, когда холодно... А она одна живет? И не страшно?.. Дом, считай, в лесу стоит, шакалы рыдают, на улице черт-те что... Ах, ружьё... Это, конечно, – с ружьем легко жить на свете. А как ее зовут? Надя? Почему же так недовольно, разве имя ее – тайна? А он Семён.

А она всё это знала. Кроме того, что он за одиночеством сюда приехал... Несколько раз видела его (и это не в оправдание себе – мол, первый раз видит человека и сразу в постель), а однажды (он шел с носатым стариком, похожим на злобного карлика, старик этот из города время от времени приезжал, а она шла им навстречу) взгляды их встретились. Она ничего такого не почувствовала, только если бы они тогда не посмотрели в глаза друг другу, не было бы этой ночи. Она опять вспомнила этот его взгляд, в котором, казалось ей теперь, таилась уже эта их ночь, глаза эти предчувствовали будущее, в отличие от ее глаз, – и она, заглянув в них, тоже каким-то краем увидела его, и вот потому, что увидела, оно и

стало возможным. Печальные, виноватые глаза (тем, может быть, и виноватые, что знали о том, чего не знала она, чего не знали другие, чего никто не знал), и бесстыдные, даже бесстыжие. Печальные, виноватые и бесстыжие одновременно. Глаза с двойным дном.

И, увидев эти глаза, она поняла, что с этим человеком всё возможно, с ним нет запретов. Запрет, который она – с помощью окружающих – наложила на себя, мог снять только он, только он мог расколдовать ее от семилетней (семижды семилетней!) спячки, в сонное ее царство мог проникнуть только он.

И когда он пришел – а он не мог не прийти, – она оцепенела. Это было неотвратимо. И те три часа, когда он настаивал, а она не соглашалась (иные не соглашаются три дня, иные – три недели, иные – три года, а иные – три часа; три часа как никак тоже срок, и вообще, всё относительно в этом мире), эти три часа были только отсрочкой, и она знала об этом, и, что хуже, он тоже об этом знал.

Три часа! Она засмеялась. Не успела мать уехать, как она... Первый встречный постучал к ней в дверь – и она тут же... Ну что ж! Такова жизнь. Семь лет без мужика. Наседка улетела к другому цыпленку, оставила ее без присмотра – и случилось то, чего и следовало ожидать. Первый встречный... и нечего огород городить— он не принц, он просто прохожий.

А эти его речи...

Если бы у смерти было имя, то звали бы ее Кассандрой. Каждый обручен с нею, но никто не верит ее пророчествам. Я поверил, я полюбил ее – как невесту. Не знаю, почему я говорю тебе всё это... твои глаза... мне кажется, тебе ведомо многое. Я порвал последние связи – дружеские. Родным я не пишу уже несколько лет: когда еще не утрачены идеалы – не утрачены и связи с родными, чем дальше от идеалов, тем дальше от родных. Нет, родные мои знают, где я, что я, с праздниками я их еще поздравляю, но, кто я, кем я стал, им неведомо. И поздравления мои год от года реже – не хочу напоминать о себе, хочу, чтоб обо мне забыли, окончательно забыли, и тогда я уйду, уйду безболезненно. Безболезненно для тех, кто меня знал; я хочу, чтоб от меня отвыкли, хочу стать чужим в этом мире.

Когда-то я был центром мироздания, но постепенно – сам не знаю как – переселялся всё ближе к его краю, пока не оказался за его пределами. Знаешь, как в геометрическом чертеже: круг, и за кругом – точка. Вот я и есть эта точка за кругом. Я понял, что я – ничто, я проделал этот бессрочный путь и, по сути, давно уже мертв. Да, я уже на пути к венчанию с той, которую зовут Кассандрой, скоро, скоро мы соединимся... Не знаю, зачем я говорю тебе всё это...

Она знала, зачем он говорит ей всё это. Она была женщиной и, как все женщины, слышала не слова – не сами слова, а то, что за ними.

Он стоял у окна – притязания его она отвергла, только что

отвергла, – он прижимался лбом к стеклу и говорил эти слова. А за ними было:

«Я несчастен, говорю тебе, и прошу: утешь меня, дай ту малость, которую можешь дать и дать которую тебе ничего не стоит. Полюби меня – на эту только ночь. А потом ты свободна. Утешь меня – сегодня, только сегодня, и больше от тебя ничего не требуется. Полюби меня... Я несчастен. Утешь меня...»

Он говорил как мужчина. Как все мужчины.

И смешные же они... Но самое смешное, что она, зная исподний смысл его слов, сдалась. А ведь тогда она еще не думала, что только он способен снять запрет, что он – тот, который знает будущее. То, что он принц, она придумала только сейчас, сидя у окна...

Окно наконец прояснилось, то есть прояснились ее глаза – она увидела окно, а за окном...

Улыбка, как радуга, пролегла по ее – только что хмурому – лицу. Она рванулась к двери – гвоздь, на котором намотан был шнур, продетый в штору, вылетел, штора соскользнула на одну сторону окна, бессильно повиснув до пола, – занавес открылся.

Нестерпимый свет лился из окна – чьи-то нестерпимо белые ладони раздвигали стены дома изнутри.

Надя выбежала на улицу и по колено провалилась в снег. Никогда она не видела столько снега. Шел он ночью; сейчас воздух был прозрачен, чист, бесснежен. А кругом на земле

– пушистое покрытие; идешь по нему – и проваливаешься, и рад тому, что проваливаешься, – смеешься в пустоту. Снег не держит тебя на поверхности, но держит тварей более мелких – по снегу они идут, как Бог по воде.

Кусты орешника вдоль пушистого забора чуть не до земли склонили повинные головы. Деревья в центре сада – важные белые князья, а за ними, вдалеке – крепостные стены белых гор, замкнувшие сад в кольцо. Надя потрясла ствол ближнего орешника – он сбросил лишний груз, как вино, на плечи ей и распрямился, откинув гордо голову. Она побежала дальше, увязая в снегу и всё смеясь чему-то, забралась под полог склоненных ветвей – здесь было как в белом гаремном шатре, и бесчисленные снежные поцелуи осыпали ее лицо и шею.

Она вырвалась на волю – воздух, по которому недавно прошел снег, чтоб остаться на земле (потому что земля – предел его, а воздух – та дорога, которой он идет), воздух этот, освеженный, очищенный, осененный снегом, распирал ей грудь. И небо, откуда пришел снег, обещало еще снега. И его можно было есть – он лежал на озябшей ладони пушистой белой горкой, и не земля – она была тем пределом, к которому стремился небесный снег. Она была его тихой гаванью.

И она смеялась тихонько. Снег тоже пришел ночью, но земля стала светлой от него. Снег и он пришли одновременно. Не надо стыдиться черной ночи, этой ночи. Ведь снег и

он пришли одновременно.

Нельзя было бесконечно бегать по снегу – она вернулась в дом. Сидела на растерзанной постели и приходила в себя; за окном, в саду, клубились заснеженные деревья.

Настроение ее меркло.

Тесная комнатуха: две железные кровати, уютный диван, старый раскоханный стол, простенькая, тихая, теплая комнатуха и огромный странный пейзаж на стене, где лоснящаяся золотисто-пегая ночь, а теперь еще и великолепие снега за окном... Это уже слишком, это всё не отсюда, это всё не для нее.

Нездешний пейзаж, нездешний снег...

Снег – стихийное бедствие для юга.

Она щелкнула выключателем – света не было. Ну конечно, опять где-то оборвало провода или повалило столб электропередачи, опять неделю жить без света, нужно отыскать керосиновую лампу – а где взять керосин? Тогда – свечи, а если их нет – значит, купить. Ведь ей нужно сегодня в город, сдать продукцию, – вот и запасется свечами. Автобусы, конечно, не ходят – до «Греческого поворота» придется идти пешком.

Она завесила окно шторкой – приглушила немного нестерпимый свет, льющийся из окна, заправила кровати. Второй этаж не отапливался, и на зиму перебирались вниз, именно в эту, самую теплую комнату, соседствующую с кухней, с печкой. На лето старые железные кровати убирали в

сарай: спинки – у одной стены, сетки – у другой; на втором этаже стояли хорошие, модные деревянные кровати, увы, такие громоздкие, с таким трудом водворенные на второй этаж, что даже в случае продажи дома продавать бы его стали только с кроватями – снять их сверху не было никакой возможности.

Когда младшая сестра жила с ними, в комнатушку приносили еще одну кровать – третью. Тогда комната совсем уж напоминала маленькую казарму; нынче вторую кровать – кровать для матери – собрали, поставили, но спать на ней матери не пришлось: Жанка родила, и мать, повздыхав, оставила старшую дочь на произвол судьбы, уехала к младшей, пристроенной, которую за младшую давно не считала – считала за взрослую, самостоятельную, почти что ровню себе, тогда как старшая, несмотря на годы, пробегающие над потолками двух этажей, виделась ей ребенком, за которым нужен глаз да глаз.

Порой Наде самой казалось, что она девочка – маленькая девочка, живущая в избушке, в лесу, невесть сколько лет, девочка-старушка, плетущая из года в год, из века в век белоснежные шляпы и сумки для приезжих модниц-курортниц.

По всему дому, точно айсберги, плавали ослепительно-белые шляпы. Шляпы и сумки были всюду: на столах, подоконниках, на кроватях, под кроватями; они висели на стенах – как несозданные картины, как предчувствие чьих-то картин; на строе книг покоилась шляпа; сумка висела на трубе ды-

мохода – будто в нее собиралась дань дымом; шляпы и сумки были на первом этаже и на втором, на лестнице между этажами; на длинной – во весь фасад дома – веранде; на крыше собачьей конуры – на острие ее кокетливо, набок надвинута была шляпа; шляпы и сумки лежали, наверно, даже на чердаке, где зимовали крысы.

А сегодня был день, когда шляпы и сумки нужно было сдать на склад, где они будут пылиться до лета, а летом их развезут по киоскам и магазинам с вывеской «Курортные товары», и только потом они попадут в руки приезжих дам.

Надя собрала все шляпы и все сумки (поднялась даже на чердак; когда снимала шляпу с конуры, мимоходом надела ее на голову Арапа – он мотнул головой), нанизала их, точно переспелые белые грибы, на шнур (отдельно связка шляп и отдельно – сумок); собралась сама: спрятала безнадежно темные волосы под пушистый (кроличий крашенный) зеленый платок, надела черное, узковатое ей пальто на зеленой саржевой подкладке (портниха из сбереженных кусков драпа сшила курточку ребенку), обула модные некогда сапоги-чулки.

Снова вышла на оснеженный воздух; на одном плече – связка ослепительных снеговых шляп, на другом – таких же сумок. И опять весело ей отчего-то, и плевать на то, что через центр нужно идти, где мужики-дураки и бабы-дуры тарашиться будут и шептаться, – семь лет уж шепчутся, никак не отвыкнут. (И еще семь лет пройдет – всё будет то же.)

И мусорную свалку, что за дорогой, внизу, по склону голого обрыва, засыпало снегом, и свалки, как гнойной раны, которую нужно заговорить, коснулся легкими касаниями белый снег, и заговорил ее, вылечил.

По дороге проехал грузовик и разворотил, растоптал снег, оставил на нём два шахматных следа – след цивилизованного упорядоченного существа, сидящего на бензиновой диете.

Она миновала центр, на остановке никого не было – значит, автобуса не жди, иди пешком. Пошла. И пришла на остановку «Греческий поворот», – если свернуть в горы, попадешь к циклопам, – но это уже последний поворот, дальше дорога в город прямая, ровная, автобусы ездят по ней и во время стихийных снежных бедствий.

Автобус увидела издалека. Горы раскрылись, как лепестки лилии, и внутри сидит синяя железная букашка. Надо торопиться – не дай бог из-под носа улетит. Заспешила Надя, заскользила, заковыляла, боясь опоздать, опоздает если – целый час придется ждать. Подняла глаза: вместо букашки – синий барак поперек дороги стоит, сиротливый, неприкаянный, ждет своих и смотрит на нее всеми своими окошками и фарами. Сбавила она шаг, покосилась на свои «грибы» – вдруг и он там, за одним из окошек... Едва в дверь вошла со своей ношей; втиснулась в нее с треском, с шуршанием – будто ель в лесу обрушилась. Печка работает – внутри автобуса тепло, как дома. Места только все заняты. Вошла и сразу почувствовала, что его тут нет. Ну и всё... Пристрои-

ла свои связки у заднего стекла на пологие, тут же, на заднем сиденье, у двери, местечко нашлось, подвинулись вольготно сидящие.

Расположилась – вздохнула, отдуваясь. Когда бежала, вспотела, смахнула теплый платок назад, на плечи, – вырвались на свободу пышные, против всех правил приличия, волосы.

Дверь, к которой сбегают две ступеньки, состоит из четырех длинных полос, посередине расхлопнется, бока свернутся, точно мехи в гармошке, – дверца и откроется; в каждой из четырех частей – оконце-бойница, в одном, обращенном к Наде, стекло выбито, дуть будет... Под пустотой нацарапано: «Надька», тире— и... нехорошее слово.

Автобус-то старый знакомый. Время от времени направляют его на этот маршрут – чтоб напоминать ей, чтоб не забывала она... И когда только он развалится, драндулет вонючий, когда только на металлолом его сдадут?

А вдруг *он* увидит это?.. Ну и пускай видит, Господи, да и что он ей?.. И что она ему?.. Ну, была эта ночь, ну, оплошала она, ну, сдалась... но ведь больше этого не будет... Ведь она не какая-нибудь... Да и не может быть ничего. Разве бывало когда-нибудь, чтобы к ней, к *ней* возвращались? И он такой же, как все: Кассандра, смерть – красиво говорить они все горазды... И ведь не просто так он пришел вчера – узнал небось всё о ней, вот и притащился... Дров у него нет! Уходил, даже головы не поднял – не захотел взглянуть на нее...

Да и плевать она хотела. Очень нужно ей... Только бы не разболтал! Пусть только попробует – ей терять нечего...

Дверца, с лязгом открываясь, больно хлопала ее по коленке, в бойницу рвался стылый ветер, хлестал ее по щекам – она натянула на голову платок, подняла воротник, отвернула лицо в сторону от ветра – к людям, сидящим на заднем сиденье; все как один, померещилось ей, разглядывали царапины на двери... Всё, всё было плохо. Еще и снег пошел, стал залетать в бойницу – колоть глаза, выцарапывая из них слёзы. Правда глаза колет!..

На складе она поругалась с приемщицей – обсчитать ее хотела, всегда обсчитывает, привыкла, что Надя всё стерпит; сдав после долгих мучений продукцию, отправилась в стеклянный магазин за свечами, там были обыкновенные тощие желтые свечи, но она купила зачем-то витые, толстые – одну розовую, другую красную; и подсвечник купила – свет ведь часто отключают, всегда, что ли, свечку ставить в банку из-под майонеза...

Снова доехала до «Греческого поворота», снова пошла пешком, но на этот раз рядом, впереди, сзади, обгоняя ее или от нее отставая, шли люди, все, как бы ни были одеты, – темные среди окружающей праздничной белизны. Торопиться ей было некуда – она постаралась отстать, остаться одна, чтоб ничьи спины не застили ей света.

В мешке у нее, кроме свечей и подсвечника, лежали еще большие блестящие клубки, смешно шуршащие друг о дру-

га. В клубки были смотаны бесконечные целлофановые нити, похожие на бесцветный елочный «дождь», – из нитей она плела шляпы и сумки. Клубки кувыркались в мешке, один, самый непослушный, то и дело норовил выскочить на дорогу. Наде захотелось бросить клубок перед собой – куда он покатится, туда ей и идти, нитка потянется, как серебряная снежная тропинка, приведет ее к маленькому, в два окошка, домику; внизу, под горой, ревет водопад, а в домике тепло, в домике не страшно, в домике человек живет.

До поселка идти три километра; день за это время пошел на убыль, помутнел, подурнел, горы потускнели, стали лиловыми, на заснеженной дороге от бесчисленных шагов образовались черные асфальтовые проплешины.

Когда Надя подошла к поселку, в некоторых окнах уже зажегся свет, она убыстрила шаги, сердце тревожно забилося: не опоздала ли она, а вдруг он уже приходил...

Улица была пустынна, но кто-то (в мохнатом полушубке) сошел с лестницы магазина, шел скорым шагом впереди нее. И он не свернул от столовой вправо – на самую людную улицу; если и за клубом он не свернет... дальше – мост, лес, и за поворотом – только ее дом, дом Натальи Ивановны и еще дальше, на спуске к водопаду, – его...

Человек свернул за клубом.

У дома ее встретил обиженно-радостным лаем Арап, топтал своими большущими лапами весь снег подле конуры, ее ожидаючи; оставила его на привязи, забыла отвязать, как

обычно, а сама ходит где-то до самой ночи – ни стыда ни совести!

«Ми-иленький, Арапчик...» – отпустила его поскорее на волю пристыженная Надя.

Домой вернулась как после долгого отсутствия, как после побега – и все предметы в доме встречали ее заговором, заговором молчания; будто до нее, до того, как ей открыть дверь и ступить на порог, в доме была кутерьма, происходило что-то веселое, радостное, всё звучало, гремело, стучало, а стоило ей войти – всё замерло, смолкло, насторожилось. Так бывало в школе: натворит один что-то такое, что против всех правил, – и с ним перестают разговаривать, так же, показалось ей, было и сейчас. Только ведь в доме не было людей, а вещи, а предметы, наполнявшие дом, и до сего дня с ней не говорили.

Холодная печурка не похожа была на себя обычную, но растапливать ее не хотелось. Стены, столы, подоконники, полки казались пустыми без привычных ослепительных пятен шляп. Хорошо еще, что свет дали, – со светом было как-то веселее. Она включила телевизор и успокоилась: бормотание его, как бормотание старика, который разговаривает сам с собой, которому нет необходимости отвечать, которого необязательно слушать, но от чьего присутствия теплее в доме. Вот она говорила, что предметы, живущие рядом, не говорят с ней, а вот нашелся же один...

Она перевернула мешок кверху дном – и клубки выско-

чили на волю, раскатились по комнате: который в угол, который под кровать, который у ножки стола застрял, который под тумбочкой с телевизором нашел себе приют.

Раздался стук в дверь – Надя оцепенела, сидя на корточках, повернув голову в сторону двери...

Дверь открылась – вошла Наталья Ивановна.

– Ты чего так сидишь – потеряла что?

Мотая головой, подумала: ну вот, Наталья Ивановна пришла, с сумкой пришла, с ночевкой пришла...

– Ты уж прости, что забросила тебя совсем, – кто ж знал, что так получится? Не думали, не гадали...

– Да что вы... Не беспокойтесь вы – я уже привыкла. Прекрасно одна могу ночевать...

– Не-ет, я матери твоей обещала – должна навещать. Сын к другу уехал с утра самого, дела там у них какие-то, – вот свободна сегодня, пришла!

И расположилась поближе к телевизору.

Надя задумалась за ее спиной.

– Вы знаете, Наталья Иванна... вы меня простите, но я тоже должна ехать... Подруга в городе заболела, и ночевать... там, видно, буду.

– В такую-то погоду да в такую темень! Не отпущу. Мало ли что: врача пускай вызовет. От тебя-то какой толк? Автобусы, скажешь, не ходили – они и не ходят. Никуда не отпущу. Я матери обещала.

– Да что ж это такое! То не приходили, не приходили... А

теперь – обещала. А мне в город надо. Я тоже обещала...

Надя выпалила это и ужаснулась – как она посмела: Наталья Ивановна столько сделала для них и для нее, и что скажет мама, и вообще...

Соседка, поджав губы, засунула вязанье в сумку, сняла тапочки, тоже принесенные с собой, и их положила туда же, пошла к выходу; и только вполне – до перчаток – одевшись, в дверях уже сказала: «Надя-Надя...» – и с тем вышла.

Надя опустила на кровать. Зачем, зачем всё это?.. Зачем она?.. Ну зачем?!

И точно в отместку кому-то пошла и включила свет на улице: лампочка над крыльцом загорелась, освещая путь от калитки...

И он пришел. И рвался на привязи Арап. И она, услышав стук, сразу поняла, что это тот стук. Она стояла с этой стороны двери, старалась не дышать – и не открывала. Потом засомневалась: он ли? Неуклюжими, но неслышными скачками взлетела по лестнице на второй этаж, посмотрела на крыльцо из темного окна веранды: это был он. Стоял в нерешительности под дверью – не стучал больше, ведь окно на первом этаже светилось, а ему не открывали... Стукнул еще – Надя со сторонним интересом наблюдала за ним, ждала, что он будет делать дальше. Он повернулся к двери спиной... сошел с крыльца... он уходил по снежной тропинке вниз – к калитке...

Надя застонала и, присев, впилась зубами в край подокон-

ника.

...Пусть он пришел – он пришел к ней во второй раз, но ведь в третий бы он не пришел... А так – он приходил, приходил, а она его не пустила. Она сама бросила его.

Телевизор внизу болтал по-прежнему. Надя посидела перед ним, послушала: он доказывал что-то свое, учил ее каким-то своим обновленным истинам, говорил о социализме с человеческим лицом... Она вздохнула: и смешон же он был сейчас!

Надя вышла на крыльцо: опять шел снег, крупные медленные хлопья, которые хотелось глотать, точно влажные белые магнолии, раскрыть рот – и давиться снегом.

Арап, поскуливая, выбрался из конуры, стал ластиться к ней, то и дело отряхиваясь, отфыркиваясь от снега.

«Замерз, совсем заме-ерз, миленький, ладно уж, пошли в дом». – Она говорила так, словно кто-то в темноте слушает ее речи.

Она опять отвязала Арапа, запустила его на веранду – он наследил там, обляял все углы, избил хвостом и себя и ее; Надя вытерла ему лапы, чтоб пустить в комнаты. С тех пор, как нашелся сын Натальи Ивановны, пропадавший где-то невесть сколько лет, и соседка перестала ночевать у нее, она частенько пускала Арапа в дом, особенно в плохую погоду.

Затопила наконец печь. Идя за поленьями, сохшими на веранде, под лестницей, остановилась на полпути: а если он

за дровами приходил... ведь она так и не дала ему дров... Приходил за дровами – а она-то решила!.. А если за дровами приходил – ведь ему холодно там, в этой уютной избушке...

Хотела бежать туда с дровами, с охапкой поленьев в руках. И передумала – апатия охватила ее, столько всего навалилось на нее за сегодня, так она устала от всего! Какая разница: к ней ли приходил, за дровами ли приходил! Не замерзнет, чай, до смерти... И ведь не у ней одной во всей округе есть дрова, да и бурелома в лесу полно.

Надоело ей думать да думать – печку вон надо топить. И затопила.

Утром, открыв дверь в кухню, Надя увидела: Арап растянулся на остывшей за ночь печке, на чугунном пологе с двумя кругами; нос у него будто из кирзы сделан, глаза, как капли дегтя; ее увидел – соскочил виновато с печи, подняв облако печной сиреневой пыли. «Ну ты даешь!» – рассердилась Надя и выгнала собаку на улицу. Встала она поздно, как всегда, тут же включила радио – по третьей программе спектакль должны передавать. Умылась, оделась, из печки золу выгребла, поела, за дело принялась: поймала пару ближайших клубков, в кончики нитей крючки впрягла, замелькали рыжие крючки-лошадки, засеребрились в воздухе нити, заплетаясь в узор.

По радио опять знакомый спектакль передают – видать, уж все на свете постановки переслушала она за семь лет.

Что-то стукнуло – побежала открывать, а это Арап на ве-

ранду проник: дверь была приоткрыта, соль на столе опрокинул... значит, будет ссора... Только вот с кем? С Натальей Ивановной она уже поссорилась, разве что с Арапом...

Вернулась к радиоприемнику, к клубкам своим. Вдруг радио на полуслове – Гаев как раз говорил речь перед шкафом – умолкло. Побежала к выключателю: ну вот, опять света нет! За окнами бело, сыплет снег, и если долго вглядываться, кажется, что летит он в обратном порядке: с земли – в небо.

Никак не идет работа, вываливаются из рук рыжие лошадки, падают бессильно набок, опадают серебряные вожжи, не видит она света белого, видит черную ночь, слышит горячее дыхание, губы и руки колдуют над ней, насмерть почти заснувшей: проснись... очнись... вернись... Открываются ее глаза, оживают руки – заново учатся колдовать. Лицо его, губы, то ближе, то дальше (ближе к небу – ближе к ней), агония искажает лицо...

Она зажмурилась, открыла глаза – и быстрее, быстрее замелькали бурые лошадки в ее руках.

И снова радио заговорило: «...необходимость экономических реформ, гласность, идейный и политический плюрализм». Кончился радиоспектакль, а она так и не довязала шляпу.

Нет, невозможно сегодня работать – не сидится ей на месте, поняла, что нужно сходить в магазин, пока на обед не закрылся (мелькнула тень вчерашнего человека в мохнатом,

как у него, полушубке).

Посидела у подоконника, склонившись над зеркальцем, – накрасила всё, что можно накрутить, и отправилась.

В магазине говорили про снег, человек пять стояли у прилавка и вспоминали, что лет сто, по крайней мере, не было такого снега; рыже-белый плиточный пол влажным стал (рыжие плитки – темнее, белые – белее, чем обычно); от оснеженного драпа пальто пахнет дремотной прелью; на стене над ее головой – двойной листок из тетрадки в клеточку, на листке – расписание фильмов на нынешний месяц февраль.

Дверь распахивалась – входили люди, мотали головами, топали ногами, поводили плечами – того гляди, «цыганочку» запляшут, а это они от снега отряхивались. За Надей вытянулся хвост. Она решила купить конфет «Белочка», двести граммов – как эта тетка перед ней, – буханку хлеба, кефиру еще (на бутылки надеты серебристые шапочки из фольги, так что кефирные бутылки, стоящие в черных пластмассовых ящиках, похожи на плененных снегурочек), халвы, ну и...

Дверь в очередной раз распахнулась – и в снежном облаке вошел он. Она влоборота стояла – он шел вразвалку, по-медвежьи, в мохнатом своем полушубке, распахнутом на груди; шарф, в такт шагам, – шерстяной маятник, на волосах – паутина снежинок, глаза устремлены на нее. Он хотел кивнуть, поздороваться – она отворотилась, повернулась лицом к продавщице – ее очередь подошла, и спиной уже услышала,

как он крайнего спросил; взяла халвы, две бутылки кефира, хлеб... Чего ж еще-то?.. И пошла, и чувствовала, как он оставливает ее взглядом. Боялась поскользнуться и упасть.

Снег прекратился. Он догнал ее у моста. Пошел рядом, покусывая верхнюю, по-мальчишески вздернутую губу. Она посмотрела искоса – руки его были пусты... Ей стало весело: она взмахнула сумкой – и бутылки, как литавры, звякнули друг о друга.

– Почему ты убегаешь?..

– Я?!

– Я приходил вчера...

– Я не слышала. А у тебя есть дрова?

– Что? Да. Я нашел. У меня тепло теперь.

И они уже подходили – а он ничего еще не сказал, сейчас ей надо будет свернуть к ручью... вон уже темнеет среди деревьев ее дом... И она убыстрила шаги, чтоб он не подумал, что она их замедляет.

И она свернула к ручью, а он остался на дороге, он не пошел за ней. И она уже миновала ручей, подходила к калитке – и не могла обернуться, посмотреть, стоит ли он еще...

– Послушай...

Она обернулась: он стоял всё там же, ужасно смешной в своем полушубке из свалывшейся шерсти и такой живой, реальный на фоне впаянных в небо безразличных гор.

– Зайди, если тебе нетрудно, ко мне... Сегодня.

Она кивнула: головой вбок и одновременно плечом вверх

– то ли «да», то ли «не знаю» – и хлопнула калиткой.

И, скрывшись за деревьями, бросила под ствол сумку, и в беге взбрыкнула ногами снег – он веером разлетелся от носков ее сапог.

Она давно была готова: вымыла голову, лицо превратила в посмертную маску, надела невероятное японское платье, купленное у фарцовщиков (стоившее двух месяцев ручодельной работы), ни разу не надеванное. И печка была истоплена, и за окнами темнело, и давно было пора (часа два уже ей казалось, что пора).

«Зайди ко мне на минутку», – так он сказал?

Она сидела посреди комнаты и страшно боялась ошибки, боялась, что не так поняла, боялась, что придет – и будет всё плохо, неловко, неудачно, что он не то совсем хотел сказать, искала за словами потаенный смысл – и не находила его.

«Зайди ко мне» или «Зайди ко мне на минутку»? Она посмотрела на серебристо-розовое свое платье и решительно сняла его, натянула серые шерстяные брюки, сильно расклешенные книзу – модные лет семь назад, – и фиолетовую трикотажную кофту в крупных цветах; кофта поверх брюк, до бедер.

Теперь можно было идти.

В темных комнатах за ее спиной притаилось холодное ожидание; она захлопнула последнюю дверь – и ступила в снег.

Горы плыли по левую руку от нее, точно белые верблюды по шелковому пути, втекавшему в млечный шлях, опрокинутый над поселком (возможно, именно оттуда посылался на землю снег – ежезимнее послание невежественным людям). Дорога белела под ее ногами, Надя свернула влево – бугристая дорожка резко уходила под гору; на санках бы покататься...

Справа, среди деревьев, уже мерцал огонек.

Она постучала в некрашеную щелястую дверь костяшками пальцев – вот еще пальцы-то занозишь, – никто и не открывал... Повернулась уходить, потом распахнула дверь, оказалась в темноте, наткнулась на стену – столб света вырвался откуда-то сбоку, и из света вышел он: лицо, улыбка, голубая рубашка; она оказалась в теплых объятиях, она задохнулась от поцелуя, она уткнулась лицом в его грудь, она услышала:

– Я так ждал тебя.



2

Любит ли он ее? Разве она спрашивала об этом: его или себя... Ей было достаточно того, что есть.

А было – так много.

Снег давным-давно растаял, днем светит солнышко, земля потихоньку прогревается, но ночи – ночи всё еще холодны и так черны, что, когда идешь от калитки к дому, слившемуся с мраком, натыкаешься на деревья по краям тропинки, не видишь, куда ведут тебя ноги, не видишь руки, выставленной вперед для ощупывания пространства, – и в конце концов упираешься в стену дома лбом.

Это если в доме не светится окошко.

А если окошко светится?

Тогда ждет тебя истопленная печка, уже не похожая на сонную белую медведицу, и ужин ждет: жаренная на постном масле картошка, чай, холодный серый хлеб, тот, что по шестнадцать копеек (на веранде лежал), и он ждет: сидит, склонив над столом свое милое, детское лицо, пишет что-то.

Он из тех мужчин, у кого такие вот навечно мальчишечьи лица; и эта его детская привычка – когда он сосредоточен, занят важным делом: пишет ли, чистит ли картошку – вбирать в себя от излишка усердия губы.

Надя любила смотреть на него, когда он бывал таким – сосредоточенным. Он делал что-то – писал или читал – Надя

сидела напротив, в уголке дивана, и смотрела. Она часами могла сидеть и смотреть. «Точно кошка», – ругался он. Вначале он прогонял ее, уговаривал заняться делом – почитать что-нибудь (она так мало читала, и всё не то, он ей список напишет), или на худой конец хоть шляпы бы свои вязала, – Надя уходила в кухню с книгой, которую он дал ей, или с вязаньем, но через пять минут возвращалась, прокрадывалась виновато в свой уголок.

– Я не могу, когда на меня так смотрят!..

Он собирался и уходил в холодный свой дом. Надя шла за ним и говорила, что больше не будет, что уже почти дочитала «Голод» Гамсуна, скоро возьмется за «Пана», будет тихонько сидеть в кухне и читать, раз она мешает ему...

– Да не мешаешь ты, не мешаешь; как ты не можешь понять – я же о тебе забочусь! Ну как тебе не надоедает часами смотреть на одно и то же? Было бы хоть на что!.. – Он усмехался и качал головой.

Но что же делать, если ни книги – даже самые интересные, – ни вязание не шли ей на ум? Смотреть на него казалось ей занятием гораздо более важным, чем чтение. Она точно в самом деле очнулась от мертвого сна, воскресла и, увидев живого человека, навечно удивилась. Она никак не могла привыкнуть к тому, что вот он – такой живой, настоящий, вот он – ее человек. Похожий на ласкового бога.

В конце концов он привык к тому, что она ничего не делает, только сидит и смотрит, и махнул на нее рукой:

– Ну сиди, сиди... Нашла свое призвание— на мужика смотреть.

Но это всё вечер, вечер. Он строгий, будто бы строгий... А потом...

...Луна смотрелась в окошко. Она смотрела в окошко. Стекло плавилось между ними.

Она только что очнулась. Еще погружена в ночь, еще наполовину там, во тьме. Она точно кентавр сейчас, или русалка – части дневная и ночная совмещены в несовместимое целое. Днем она забывает о себе ночной, днем ей не верится, что и это тоже – она. Он открыл, показал ей эту ее ночную русалочью сущность. Клокочущие глубины горячей тьмы, в которые ей хочется погружаться и погружаться, забыть о дне, проклясть день, жить только ночью, верить только в ночь...

И сон – как чистилище между ночью и днем.

Во сне ей нужно повернуться на другой бок, она приподнимает ресницы и сквозь сон смутно различает: спина, грудь, рука – не пустота, которую можно протыкать пальцем до тех пор, пока не наткнешься на стул, – спина, или грудь, или рука, всё теплое, живое. Два, три, четыре поцелуя куда придется, чтоб окончательно удостовериться – спина, грудь, рука, – и можно спать дальше.

Она полюбила просыпаться. Птицы гомонили за окном – будто птичий народ со всего света собрался в их саду; солнце светило каждое утро – каждое утро, открывая глаза, она видела его. Солнце в окне, и он – у окна, спиной к ней. По-

чувствовал ее взгляд, оборачивается, облакачиваясь о спинку стула, смотрит на нее.

Она не в силах сдержать улыбки, он не выдерживает – идет к ней. «А что это у нас такое?» – молвит, пытаюсь поцеловать в оголившуюся грудь (она видела, что одеяло сползло, но не поправила его, даже нарочно – отодвинула), а сейчас, под угрозой склонившегося его лица, натянула одеяло до самого подбородка.

Он обращался с ней как с маленькой. Как-то так повелось. «А что это у нас такое?», «А где у Наденьки глазки?». Он завязывал ей шарф, когда она шла на улицу, он воспитывал ее: ругал за то, что свистит в комнате, ломает хлеб, отчего всегда полно крошек («Ну как с тобой в свете-то покажешься?»), подсовывал привезенные с собой книжки. Надя смеялась – вот, нашлась маме замена!

Подарил ей цветы... Это был первый букет, который ей подарили. Он пропадал весь день, сказал: «Мне надо». Она сделала вид, что не понимает, зачем надо, хотя сердце радовалось, зная, наверняка зная, что наконец-то ее, как настоящую женщину, как всех женщин в этот день, поздравит он, ее мужчина, а не мама, как это было всегда!

Видимо, лицо у нее вытянулось. Красные, с ядовито-лиловым оттенком зимовники... За день до того в городе, на рынке, она видела эти – такие – цветы. Тугие букеты у основания соцветий стянуты рядами черных ниток десятый номер, лежат они на конце длинного бетонного, почти пусто-

го стола. Был ранний вечер, торговые ряды опустели. Цветы продавала девчонка с изыбшим личиком, с носом почти того же оттенка, что цветы; клетчатое пальто на два размера больше, чем нужно, руки в карманах, и, чтоб согреться, цветочница скачет то на одной ножке, то на другой. Надя узнала ее – поселковая девчонка, из семьи многодетных Баранчуков, в классе шестом, наверное, учится. Девчонка, взглянув на Надю, перестала скакать, отвернула личико.

В природе не существовало цветов такой окраски – были кремово-белые, с нежно-зеленым вычурным венчиком посредине, зимовники, на длинном мясистом стебле – наверное, самые крупные из лесных цветов, и не только этого времени года. Надя знала, как из белых они превращаются в красные: окунаешь цветок в банку с ядовито-красными чернилами – и, будьте любезны, белые зимовники, напившись яду, алеют! В детстве они с сестрой тоже занимались такими превращениями.

Видимо, лицо у нее вытянулось: она в самом деле не ожидала, что будут эти – крашенные – цветы. Он сказал: «Что ты... Это хорошие цветы». Она закивала изо всех сил. Откуда ему было знать, что они крашенные?

Они сразу осыпались – на следующий день: лепестки, лежащие вокруг вазы, свернулись в сморщенные лодочки, но высокие стебли, вознесшие кверху пустые арены венчиков, не надломились до сих пор.

Он говорил: «Знаешь, я тебя боялся вначале. Особенно

в первый день... ночь... утром. Сидишь— отвернулась, гордая такая. Господи, как мне плохо было тогда, как я боялся, что сделал что-то не так! А потом – помнишь, в магазине встретились? Я позвал тебя к себе, ты плечиком дернула – и ушла, важная, как герцогиня. А потом – я ведь за тобой пошел – за деревьями скрылась и давай в снегу барахтаться. Я думаю: девчонка, она же совсем девчонка. И так мне весело стало...»

Говорил: «Знаешь, мне иногда кажется, мы уже встречались с тобой, встречались в какой-то иной жизни, встречались, но не узнали друг друга, разминулись. А тебе?»

Ей не казалось, она сердилась – за дурочку он ее принимает, что ли? Говорить такие банальности... Думает, она не знает, что чуть не в каждой книжке герои своим женщинам так говорят! Думает, уж совсем она необразованная, что ли? А она читала, много читала когда-то. От отца книг осталось три стены, в комнате его самодельные полки, а на них – тома, как в библиотеке, только одна стена без книг, там окно. А в окно (только в это окно) видна крыша его домика. Зимой была видна. Сейчас листва всё затягивает, укутывает скелеты деревьев робкой зеленой плотью, и оживший лес занимает в пространстве гораздо больше места, многое скрывая от взгляда наблюдателя.

Она не сразу узнала, что он – поэт. Узнав, удивилась и ошетибилась. Долго не могла успокоиться: поэт, пишет стихи, и – с ней! Разве такое может быть?! Она так была потря-

сена, что целый день говорила с ним не по-людски: о важном (о том, что ему могло показаться важным), сложными предложениями, вставляя всюду словечко «ибо».

Стыдно, стыдно вспомнить...

Надя и сейчас покраснела. Вечерело. Моросил легкий дождик – сеянчик. Она была без зонта и прибавила шаг. Скорее, скорее домой!

Ждет небось – она нынче припозднилась.

А может, и не ждет – два дня уже она одна, он у себя работает. Бывают такие дни, когда ему почему-то не пишется при ней; даже если она в стороне от него – в кухне. Она бродит по дому, не зная, за что приняться, в конце концов тоже садится за работу, но прибегает к нему раз по десять на дню – просто чтоб взглянуть на него. Посмотрит – будто воды живой напьется, глядишь – и у нее работа пойдет живее.

Всё это хорошо... Всё бы хорошо... Но эта фотография...

Третьего дня он послал ее за какими-то бумагами в нетопленный свой дом, она выдвинула не тот ящик и на дне, под тетрадами (обычными, общими, по сорок восемь копеек – ее очень удивляло, что стихи пишут в таких вот обыкновенных школьных тетрадках), увидела лицо той...

В самом начале, когда ночи казались случайностью, когда каждый раз она мучительно ждала: придет – не придет, они рассказали каждый о себе. У той, которая и была причиной его бегства сюда, в этот поселок, затерянный в горах, ока-

залось удивительное имя – Гудрун. Конечно, поэту и нужна женщина с таким именем...

Фотография, разорванная когда-то, была тщательно восстановлена: обрывки подогнаны один к другому и наклеены на плотную бумагу.

Женщина была снята в беге (стремилась к фотографу): волосы взлетели, лицо запрокинуто, рот разинут в хохоте. Невозможно было понять, красавица она или уродка. Надломленные пряди волос, точно светлые молнии, один глаз чуть выше другого, и вся она – будто сквозь решетку, асимметричную, легкую, но решетку; кажется, еще мгновение – и женщина расшибется об эту, невидимую для нее, преграду.

Он говорил, что она высокая блондинка, старше его семью годами. Надя со злости придумала из нее Медузу Горгону с молниями в волосах.

Она надоела ему расспросами о той, он сказал: «Прошу тебя: хватит сыпать мне соль на рану...»

Он так сказал, хотя всё время твердит, что излечился, что это она вылечила его, что ее теперь любит...

А разве она спрашивала об этом...

Что же это? Ведь в первые ночи, когда он плакался о несчастной своей любви, не было у нее никакой ревности, только радость, что пришел, а теперь... И ведь она сама тогда же, вначале, в ответ на слова любви сказала, что нет у них никакой любви, а просто они нужны друг другу как мужчина и женщина, и не надо никаких слов. А теперь...

Вот уедет он – и что тогда?..

А он уедет.

Надя очнулась у самой калитки. Не заметила, как приехала домой, как миновала во тьме шаткий мостик через ручей, – окно в доме не светилось. Не ждет. Значит, по-прежнему работает у себя. Ну и хорошо: Надя ездила в город, чтобы сделать прическу, – захотелось быть красивой, – но дождь не прекращался, и от прически осталось мокрое место. Явилась бы ему чудищем морским.

Не узнала себя в зеркале: тумба волос съехала набок, висюльки возле щек похожи на обрывки серпантина. Разворотила всю прическу, вычесала патину лака – волосы опять закрыли полспины. Сколько раз зарекалась делать прически – не идут они ей, – и вот опять... Всё ждешь какого-то чуда. А чуда нет как нет.

Дождь потяжелел, стал крупнее, чаще, холоднее. Дорожка, бегущая книзу, к его домику, стала неузнаваемой: камни были не на своих местах (поток вывинтил их из земли и протащил вперед), появились незнакомые ямы, рытвины. И зачем только надела она эти, на кожаной подошве, туфли, шла бы в галошах! Уже у самой калитки Надя поскользнулась и упала.

Ночь на дворе, ее до сих пор нету, а ему плевать. Сидит спокойно, стишки пишет.

Она распахнула дверь – и застыла на пороге.

Опять эта... И он, как ни в чём не бывало, сидит с ней –

ликер пьют. Как тогда... Стул ее придвинут к его табурету. Надя захлопнула дверь, не переступив черты.

Домой приковыляла, до глаз промокшая.

Как он смеет – вот так?! Как он может?! Что вообще она в нём нашла... Никто бы не позволил так с собой обращаться, только она, дура...

Он ее не любит. Конечно, не любит – с чего она взяла? (Разве таких любят?) Мало ли что он говорил – он говорил, а она, безмолвная, слушала. А ведь он говорил не только о любви, о свободе тоже – говорил, что в любом случае хочет быть свободным. Вот, значит, о какой свободе он говорил!

Часы висели за ее спиной – она обернулась: прошло пятнадцать минут.

И еще пятнадцать минут прошло.

Ведь он придет, он всё равно придет – она твердо это знала. Зачем же так мучить ее?

Еще пятнадцать минут...

Но ведь ничего такого не случилось?.. Вообще ничего не случилось. Так чего ж она? И ведь в тот раз было то же самое, совершенно то же – и как совсем по-иному она приняла это тогда!

Тогда он еще говорил о Гудрун. И он пил тогда с поселковыми мужиками. Она ставила это ему в вину. Как может он, поэт, пить с такими? Ей стыдно стало перед Светкой Балыкиной (из старых подруг только Светка иногда еще заходила к ней), когда та рассказала, что видела его на магазинном

крыльце – пил там с алкашами, – а говорила: поэт...

И еще: она боялась. Хоть и рассказала она ему про себя, но... Одно дело, когда она говорит о себе, и другое – когда кто-то, неизвестно какими словами...

Он пришел с бутылкой, позвал ее к себе, сказал: «Тоскливо мне что-то, выпей со мной, Наденька, – один не могу». Надя выпила, а сама исподтишка визнавала, не сказали ли чего мужики. «Что они могут сказать умного?» – услышала только.

А тоскливо, он говорил, ему часто бывает, она здесь ни при чём, и никто ни при чём, время от времени накатывает – и ничего тут не поделаешь, никакая любовь не спасет, даже работа – и та не спасает. То есть тоска-то, может, оттого и бывает, что не работается. Хотя чёрт его знает. А ей, Наденьке, спасибо – с ней он душой отдыхает, с ней ему легче, чем со всеми. Вот не думал, что в эдакой кавказской глухомани встретит ее!

Он совсем опьянел, и у Нади с непривычки (лет семь уж не пила) голова закружилась. Заснули: он – сидя, она – голову положив ему на колени. Вдруг – стук в дверь. Он не проснулся, а Надя соскочила, побежала открывать. Показалось спросонок: мать приехала, забыла, что не дома она, а у него. Открывает – в дверях женщина. Надя вздрогнула: уж не Гудрун ли?! Но ведь он говорил, что она блондинка... Ну, это-то – долго ли покраситься. Еще говорил: высокая, а эта чуть выше Нади. Хотя, может, и высокая. Зато не особенно

молода – это ясно. Она?! Сколько у нее родинок на лице!

– А мне Семёна... – сказала женщина, окинув Надю пристальным взглядом. Достойной внимания она ей, видимо, не показалась – глаза тут же стали равнодушными.

– А его... Спит, – сказала Надя, собравшаяся было со-
врать. Женщина заглянула в дверь, увидев его, отодвинула
Надю и подошла к дивану.

– Эй, соня, – склонилась над ним, – подымайся, гостей
встречай!

Он улыбнулся и, еще не очнувшись как следует, протянул
к женщине руку, будто приглашал в объятия. Надя стояла
рядом. И сразу же, будто обжегся, руку отдернул. На Надю
посмотреть не посмел.

– Это Ира, – кивнул на гостью. – Это Надя.

Надя опустилась на диван. Ира, взглянув на стол с остат-
ками еды, тотчас принялась за дело. Собирала посуду, сти-
рала со стола, напевая что-то.

Никогда бы она не решилась так хозяйничать здесь, хотя
уже третью неделю они были вместе. Она вдруг почувство-
вала необычайную легкость, ту легкость (а может, пустоту),
с которой (в которой) жила до его появления. Даже радость
она почувствовала – радость неожиданного освобождения.
И она засмеялась втихомолку. А может, это она слёз так бо-
ялась – до смеха.

Надя не уходила, весело наблюдая, как будто она сидела в
темном кинозале, а они были на экране, разыгрывали интер-

медию; они, само собой, ее не видели. Когда он позвал ее к ним, на экран, то есть за стол (где даже не было третьей рюмки), она отказалась. Она хотела остаться здесь – во тьме зрительного зала. Наконец Надя встала, выдохнув: «Мне нужно идти... работать».

Дома она действительно села вязать и спокойно два часа вязала, но внезапно нетерпение охватило ее, выбив из рук клубки. Она поняла, что не усидит дома, что это выше ее сил, что она должна всё понять, всё узнать, услышать, что он скажет. Конечно... если дверь будет открыта.

Она привела себя в порядок – иногда это у нее получалось; бывали такие дни в ее жизни, когда она вдруг, ни с того ни с сего, хорошела. Она делала со своим лицом то же, что всегда, но выходило совсем не то, что всегда.

В зеркале появилась египтянка с точеным лицом – это одна из дочерей одного из фараонов, родившаяся от кровосмесительного брака, очнулась в своей гробнице и отразилась зачем-то в Надином зеркале.

Дверь была открыта.

Они по-прежнему сидели за столом. Бутылка ликера, которую Ира принесла с собой, почти опустела.

Надя, перенявшая повадки жрицы, прямая, как стрела, прохаживалась взад-вперед по комнате. Она говорила о расстрелянном поэте – о нём он говорил накануне, тогда Надя только слушала, не признаваясь, что читала о нём, что даже знает наизусть пару стихотворений (о, эта папина комната!),

а сейчас стала отвечать ему – вчерашнему. И прочла вслух «Жирафа» – у нее был мальчишеский надтреснутый голосок, а стихи выходили откуда-то из подвздошья.

Еще сидя у зеркала, она уже знала, что всё будет хорошо, поэтому вошла легко, не тушуясь (первое движение, первый шаг, первое слово особенно трудно давались ей). И то, что должно было случиться, случилось. Он не сводил с нее глаз, потом посмотрел на часы и обернулся к погрустневшей госте: «Ой, Ира-а, ты опоздаешь – последний автобус через двадцать минут».

Ночью она решила спросить:

– А... Кто она – эта Ира?

– Да-а... Хозяйка. Домовладелица. Это ее дом – старик ей подписал. За деньгами приехала.

– Ты... любил ее?

– Что ты!.. Просто нужно было забытья, во что бы то ни стало забытья...

– Гудрун...

– Да. Но сейчас уже всё прошло. Ведь у меня есть ты.

Всё это было так унижительно... Как она не понимала тогда?!

И вот теперь – снова эта Ира...

Она знала, конечно, знала о его женщинах, ей даже льстило, что столько их у него было, но когда они – эти тени прошлого – вдруг появляются живыми женщинами в настоящем!.. А это только одна из теней, может быть, самая

безопасная, потому что из прошлого самого недавнего. А если появятся другие? А если возникнет королева теней – Гудрун?..

«Нужно было забытья, во что бы то ни стало забытья», – говорил он. А если и она, Надя, – для того, чтоб забытья?.. Нет, не может быть!

Но прошло уже два часа, почти два часа...

Ее стул был придвинут к его табурету, вспомнила Надя. А... почему не так: его табурет был придвинут к ее стулу?

Два часа его нет. Он думать о ней не думает. Чем он там занимается?!

А если самой пойти, он не идет – значит, ей надо пойти? Не заходить, а так, только в окошко посмотреть? Окошко низко... Если не со стороны обрыва...

Дверь открылась – вошел он. Она едва не вскрикнула – он застиг ее у окошка, внутренним оком она подсматривала... Она ненавидела его сейчас.

Он прошелся по комнате, как она в прошлый раз... Про что заговорит – тоже про Гумилёва, а может, стихи начнет читать?!

– Наденька... Я, конечно...

– Вовсе нет.

– Я, конечно, понимаю, что ты тут...

– Нет.

– Но не мог же я ее выгнать... Человек ехал за такие километры, в такую погоду...

– Зачем? – Она так и подскочила.

– Я же тебе в прошлый раз говорил...

– Говорил.

– Ну что я – в шею должен был ее выталкивать?! Она несчастный человек: замужем без любви, дети не слушаются... Годы уже...

Надя обернулась к нему:

– Ну, коне-ечно... Ты всех жалеешь, тебе всех жалко!..

Благодетель какой! Вот... вот возьми собери всех своих старух – Гудрун еще – и устрой богадельню!

Он круто обернулся, посмотрел на нее так, как не смотрел никогда. Он не сказал больше ни слова – вышел, хлопнув дверью.

Ну и пускай. Теперь хоть она не чувствует себя такой униженной, жалости достойной. Они равны теперь.

Надя походила по дому: из комнаты в комнату, с этажа на этаж. Пора было спать, но ей не уснуть сегодня... Сесть разве за работу?.. Не надо хитрить – ей надо сесть за работу, потому что нет крючков для вязания, крючки остались у него. Ей, выходит, во что бы то ни стало надо идти к нему.

Она взяла зонт и пошла. Постучала.

– Да, – сказал он.

Она вошла. Он писал. Он был один.

– Где мои крючки? – спросила. – Мне нужно работать.

– Надя, – он поднялся из-за стола. – Надя...

Она нашла крючки и, не взглянув на него, вышла.

Ее не удивило, что он может работать в такой момент. Она уже знала, что он может работать всегда. Главное – не было этой...

Зонт раскрыть забыла. Пришла домой промокшая и легла спать.

Утром встала поздно – его еще не было. Надю это не очень расстроило – если писал всю ночь, придет только после полудня. А до этого будет спать. Как же ей-то прожить эти полдня? Сад она совсем запустила: копала поздно, теперь травыросло – ни разу еще не полола. Пойти разве пополоть?

Полоть она решила перед домом, на припеке, и калитка отсюда – как на ладони.

Стало жарко; она скинула потрепанную куртку и сунула ее между развиленных стволов персика.

Земля была вскопана крупно, неровно: буграми и ямами – торопилась очень; когда копала, траву не вырывала – землю перевернет книзу муравой – и ладно, но вот неладно оказалось: трава пробилась с четырех сторон земляного ломтя и вымахала иная с локоть.

Ковер под ногами, который она распускала по ниточке, бросая зеленые нити в кучу, вроде и не уменьшался. Сидит Надя на корточках, дергает по нитке, а нити все разные. Вот эту травку с узкими гладкими стеблями – на них солнце играет, как на клинках сабель, – растущую пышным кустом, семейно, Надя не любила. Шелковистое скрипение оставалось в руке при попытке выдернуть траву из земли да два-три

зеленых обрывка: корни засели прочно. Зато другая травка со скользким именем мокрица, которая хоть и вцепилась звездчатыми коготками в землю, хоть и оплела всё вскопанное пространство, нравилась ей гораздо больше. Травка была легкая, мягкая – коготки легко разжимались. Рвать ее одно удовольствие: пальцы разведи, как грабли, и гребь обеими руками. Потом свернешь траву в моток и кидай к забору, в тень фундука.

Надя поднялась с корточек – ноги замлели, – посмотрела вокруг, с высоты своего уже не привычного роста: грубая черная полоса, не сказать чтоб широко, вклинилась в исламский ковер.

Зеленое безмолвие было над головой: в кронах примолкших деревьев запутались клочки небес. Молчало медленное, налитое жаром солнце, молчали облака. Ни ветерка. Всё замерло в полуденной дреме, в мирном покое, зависшем меж «да» и «нет», между вчера и сегодня, между сейчас и никогда. Даже птицы не трезвонили, и в душе поселилось безмолвие, горячая солнечная тишина; она подчинилась тому, что было вне ее, забыла себя.

Надя едва взглянула на калитку из штакетин, перечеркнутых диагональю, выглядевшую так, словно она будет висеть на своих петлях века.

Тень легла на землю, на Надю. Она подняла голову – над ней крона дерева: алыча, которая уже отцвела почти. И здесь, на черной земле, – россыпь крохотных жемчужных

лепестков, пахнущих сладко: весной, прохладой. Лепестки, разнесенные ветром, составляют странный узор: белый слон задрал хобот, трубит, зовет кого-то невидимого. Надя не стала полоть (вырывать редкие травинки) под деревом – тормозить слона, – ушла из тени на солнце. Калитка хлопнула, она и головы не подняла – и так знает, кто это.

– Помочь тебе?..

Надя, не поглядев, покачала головой отрицательно, бросила поверх зеленого холма с торчащими сикось-накось кореньями, вывоженными в земле, колючий репейник; встала, отряхнув землю с колен:

– Закончила уже.

– Нам надо поговорить...

Она независимо пожала плечами. Шли к дому – Надя чуть впереди.

У крыльца переобулась, скинула калоши в колодках грязи, стала глину щепочкой обчищать. Он стоял над ней, ждал. Надя не торопилась. Оставила калоши на ступеньке: «Заходи», – сама осталась на кухне, долго возилась там – дел-то много, помимо него.

Он ждал в их комнате, на стуле сидел. Стул был один, Наде пришлось сесть на кровать. Для удобства села по-турецки. Расправила вокруг себя полы халата. Приготовилась слушать.

– Надя, – начал он и стал говорить, что та была до нее, в январе, когда он в городе жил, искал подходящее место,

чтоб уйти от всего... да она знает всё это – он говорил. Той, конечно, терять его не хотелось, но он ей сказал, что другую любит... Вчера он как раз всё это объяснял ей – потому и не пришел сразу. А больше она не приедет, никогда не приедет (за домик он заплатил на год вперед, все деньги отдал), и пусть Надя простит его, если он виноват. А без Нади он уже не может. Без нее он сам не свой. Пусть она его простит.

И еще много он говорил, но, чем дольше он говорил, тем дальше Надя удалялась от него.

На него она не глядела, глядела в сторону – в лунный пейзаж на стене.

Ручей бежит там, нижняя перекладина рамы, точно плотина, перегородила его, и поток, клубясь и пенясь, сворачивает в сторону, дерево-полупальма со змеящейся кроной возвышается на переднем плане, дальше – воздушная, в лунном сиянии дорога, словно изгиб спирали, и рощица подле нее, у деревьев легкие тонкие стволы – ноги фламинго, – и паутиная листва, как оперение (деревья-птицы, вот-вот готовые взлететь), и дивные холмы вдали, за которыми – это известно – земля обетованная, и надо всем разлито небесное озеро, сквозь которое просвечивает – мерещится – чье-то склоненное лицо.

Она видит, как по серебряной улитковой дороге бредет спиной к нему маленькая согнутая фигурка, – она кажется себе нищенкой-горбуньей с ношей неудач, болей и обид.

Семён замолчал, Надя взглянула на него: он взял Жанки-

ну гитару, он собрался петь для нее – она усмехнулась.

Он пел ей самые лучшие песни, пел и исподтишка взглядывал на нее, иступленно терзая гитару – госпожу, ряженную служанкой. Он пропел ей все песни, которые знал, то ласково касаясь струн, едва их перебирая, точно чьи-то пышные волосы, то колотя по ним так, что подушечки пальцев становились похожими на исполосованную спину каторжника, и тогда он дул на них, задувая чью-то обиду.

Но она не глядела на него – она глядела в сторону пейзажа, и солнце пламенело на ее щеках.

Она шла внутри картины, по едва освещенной дороге, в пышном коричнево-сером одеянии, одной рукой вцепившись в подол, приподымая его, чтобы шаг был свободным; она торопилась; кажется, за ней снарядили погоню; в правой руке она несла небольшой саквояж, в котором лежали ее письма к самой себе – сокровенные записи, которые никому нельзя показывать, даже ему Письма нужно было уничтожить. Сжечь их она не успела, значит, утопить – бросить груз в шумливый поток.

Она швырнула саквояж в воду и, перед тем как свернуть, обернулась, бросила на него – сквозь полотно – горделивый взгляд, и стая деревьев сокрыла ее.

Он замолчал.

Она устала брести по дороге, принялась спотыкаться на каждом шагу; кожа ее, как всё на картине, приобрела золотисто-пегий оттенок, лишь в волосах дремала тень.

Она взглянула на него: он облокотился о ребро гитары. Рука, соскользнув со струн, бессильно повисла, лицо усталое, губы подобрались – будто нет у него губ, глаза не глядят уже на нее. И нежность, сходная со сладким ужасом, поднялась откуда-то из глубин и затрепетала у нее внутри – она поймала нежность в силки. «Милый, милый мой», – шептала она, но слова не могли пробиться сквозь плотно сжатые губы, и она поняла, что умрет сейчас от нежности, от безысходной нежности, если...

И он отставил гитару и бросился к ее ногам, обнял ее колени, и она прижала к себе его голову – изо всех сил, чтобы задушить, чтоб освободиться от нежности.

И они превратили день в ночь, заслонившись ото дня шторами.

А когда наступила настоящая ночь, она увидела: в небе появилась вторая луна, или солнце одновременно с месяцем вышло на стражу Полнеба оказалось в звездах, а полнеба – в облачной синеве.

Зеркало в доме кто-то завесил черной шалью с кистями. С улицы доносится какой-то страшный глухой шаманский стук: тум, тум, тум, тум. Она выбежала из дому. Она бежала по кромке между ночью и днем. Она остановилась.

По дороге двигалась процессия: мужчины в черных масках, в кирзовых сапогах, несли на плечах голую женщину, ногами вперед, – как гроб, – но глаза ее были открыты. Они очень спешили; время от времени пускались в пробеги.

Один из двоих, шедших впереди (они поддерживали ее за ноги), то и дело отставал, и нога женщины свесилась ему на грудь: колено – подпоркой ему плечо – устремлено вперед, и нога болтается, подскакивает, колотится в него пяткой: то в сердце, то в селезенку – тум, тум, тум, тум. Подул ветер, волосы ее – длинные, черные – взлетели, накрыв головы последних, благословляя, и Надя узнала: эта голая женщина – она.

И сейчас же она перестала стоять у калитки, вцепившись в штакетины, перестала видеть, как идет процессия, она увидела небо наполовину в звездах (перерезанное по ковшу Большой Медведицы), наполовину в блеске яркого солнца, и ничего, кроме неба. Оно двигалось над ней, точно заводской конвейер.

Чьи-то липкие руки держали ее: за ноги, за руки, за плечи, за бока. Но это было не важно, всё это было не важно: она знала, что помощь придет, помощь всегда приходит, это было известно ей по фильмам, которые каждый день крутили в поселковом клубе: цена билета на взрослый сеанс – 20 копеек.

Ее уронили на землю; она приподняла голову, огляделась и узнала лунный пейзаж, что висит на стене. Ее бросили под дерево-полупальму с кроной из змей. Дорога плыла мимо – к холмам. Возле нее толпилась процессия. Она видела только сапоги – стаю живых сапог. Своей наготы она уже не стыдилась – всё равно ведь она мертвая. Но и к мертвым приходит

помощь... Смутное лицо на картине, Тот, который силится разглядеть сквозь толщу небесного озера, что же там, внизу... Сейчас, сейчас помощь придет, помощь всегда приходит в последний момент – так задумано... Вот, вот... Ну же! Ну...

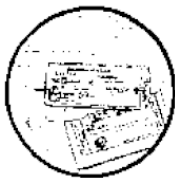
Но тут тот, что шел первым, тот, кому она отбила своей пяткой сердце, наклонился над ней... И она поняла: помощи не будет, ничто ее не спасет – и закричала, и от ужаса проснулась.

Но он был рядом. Он обнял ее, она забилась ему под мышку, она стиснула зубы.

– Ну что ты, что ты, солнышко мое, маленькая моя девочка, я ведь здесь, с тобой, – шептал он и гладил, гладил ее, точно одичавшего, выкинутого на помойку котенка.

– Только ты не уходи, только ты не уходи, – бормотала она, вцепившись в него обеими руками.

И сапоги отступили.



Над садом нависла тягостная жара. Был конец июня.

Надя, пережидая жару, бродила по дому в старом купальнике – из комнаты в комнату, с этажа на этаж – и нигде не могла найти пристанище: всюду было пекло; поднялась даже на чердак, но там оказалась настоящая душегубка. Губительное солнце выжило отсюда даже крыс, одни только шершни роились под своим гнездом, похожим на Трои, прилепленную к изнанке шифера, тщательно, без помощи богов слепленную из нутряного материала – слюны, пота и крови.

Надя пыталась вязать – лучи, проникающие всюду, вплетались в шляпный узор, и шляпы сверкали, как снежные вершины: Ахцу, Ацетука, Агепста. Но вершинная прохлада шляп была ложной, Надя не завидовала курортницам, которые их купят: мечтали спастись от солнца, а водрузили себе на головы переплетения его лучей.

Надя честно пыталась вязать – за прошлый месяц она получила почти столько же, сколько получала до его появления, она стала хорошо работать, – но сегодня жара была совсем уж нестерпимая, всё валилось из рук.

Семён с утра уехал в город – говорить с Москвой, с издательством. Когда он произнес «Москва», сердце ее вопросительно екнуло, но даже ревновать в такую жару было невыносимо. Да и думать она забыла, что была такая – Гудрун. Ме-

дуза Горгона. Ее, как самую обычную медузу, унесло отливом далеко-далеко, за горизонт.

Недавно он перебирал бумаги (она помогала ему, сидели на полу), наткнулся на фотографию, подержал ее в руках, усмехнулся: «Ну и дурак же был... склеивал, – и протянул ей: – Вот, полюбуйся – она».

Надя посмотрела, отдала. Он небрежно отбросил ее в ворох других бумаг.

Она испытала тогда двуглавое какое-то чувство – чувство удовольствия и недовольства одновременно: ей, конечно, приятно было, что так обошлись с той, но, с другой стороны, значит, и с ней обойдутся так же, когда она станет прошлым.

Надя уже совершенно свыклась с тем, что он рядом, она не оборачивалась назад, она не заглядывала вперед – она уже не думала, что он может исчезнуть, как туман. Ее перестало удивлять его лицо и то, что он поэт, и то, что любит ее. Надя не сомневалась уже, что любит. Она всё принимала как должное. Он перестал быть принцем, он перестал быть чужим. Ей уже не казалось, что всё, что он ни делает, хорошо. Она причислила его к ликам Своих (небольшой ряд людей, на которых она смотрела с пристрастием; до Семёна только мать и Жанка входили в него) и пристально следила за ним, замечая все его промахи и оплошности, которые – вот чего она боялась – заметят и другие, заметят и осудят. Всякий раз, когда он «проливал соус», она мучилась вместе с ним и сердилась на него: зачем он не совершенство? Она копила

его обиды так же, как свои.

Потом Надя стала замечать, что перенимает его привычки. Она углублялась в работу и при этом вбирала губы в себя – так, что выемка под носом исчезала, натягиваясь. Она пела его песни, и ей казалось, она знает их с детства. У ней изменилась походка: она стала ходить враскачку, по-медвежьи. Она полюбила картошку, жаренную на постном масле.

Она стала скучать.

Значит, это всё... Теперь всегда будет так? Завтраки, обеды, весь день шляпный узор перед глазами, потом ночи, и снова: завтраки, обеды... Всё одно и то же. И тихо – точно во сне.

И вот, чтобы взорвать скуку, чтобы она разлетелась по саду серой пылью, Надя принялась вызывать духов тьмы – ссоры. А она стала очень обидчива. И ревнива. И горда.

После каждой ссоры неизменно в ней зарождалась, зрела томительно, медленно, толкалась внутри, точно дающий о себе знать ребенок, нежность, сходная со сладким ужасом. Может быть, ради того, чтобы вновь и вновь испытывать это чувство, и вызывала она злых духов...

– Эй, Чекмарёва-а! – услышала Надя, забившаяся от жары в угловую, самую прохладную комнату, в раскрытое окно которой лезли оттопыренные лапы фундука с зелеными еще гроздьями орехов. – Есть кто дома? Собака привязана – и не лает: заходи кто хочешь...

Светка Балыкина.

У Светки были дети – две девочки. Светка была замужем второй раз, жила за «Греческим поворотом», и виделись они то раз, то два раза в году. И, может, оттого, что так редко виделись, остались друг для друга теми же, что восемь лет назад. Надя при Светке испытывала такое чувство, будто влезала в старую, давно сброшенную кожу. Она чувствовала, как волосы, разделенные пробором, завязываются в два великолепных хвоста, начинаясь чуть повыше ушей и свисая до груди (как у принцессы в «Бременских музыкантах»); исчезал шрам от аппендицита, исчезали все другие шрамы – она обращалась в беззаботную, безоглядно живую (потому что оглядываться было не на что – прошлого еще не было) Надьку Наверное, и Светка – хоть и с трудом – натягивала на себя старую кожу: не может быть, чтобы она осталась той же неженкой и ломакой (какой представала перед ней), – к нынешней, толстой и завитой Светке это никак не шло; конечно, это кожа – это всего лишь старая кожа, выползень.

И вот они, две школьные подруги, опять принимались за прежнюю игру, как и тогда – восемь лет назад, – говорили только о благополучном или смешном (а под беззаботными их взглядами всё становилось смешным, всё подвергалось осмеянию), говорить о себе стыдно, жаловаться на судьбу было не принято.

В этом году, когда у Нади наконец появился постоянный мужчина, они стали видеться чаще. Раза два приезжала к ней

Светка, раза два Надя навещала подругу. Все четыре раза говорили о нём. Светке он не нравился.

– Не знаю, Чекмарёва, не знаю... Такие мальчики у тебя были, а это что? Он же мужик уже. А одет как?! Ты бы хоть принарядила его, Чекмарёва. Ты же богачка – вон сад у вас какой.

– Его принарядишь... Всё – как на слоне жилет.

И они смеялись.

– Зато, Светка, он поэт. И всё чувствует. Не то что наши дураки. И делает всё, жрать готовит. Матери-то нет – удобно.

Надя чувствовала, что в обрыв катится – предает, предает его, – и в ужасе хваталась за траву, камни, но трава обрывалась, камни оставались в руках – она была всё ближе к краю:

– Да и что это, навсегда, что ли? Так – мужик-то нужен...

И волны смрадного ужаса поглощали ее.

И потом, после всего, когда он приходил, Надя взглядывала на него исподтишка: такого самого родного, самого любимого, – и опять нежность, что сродни сладкому ужасу, поднималась из глубин, она захлебывалась в нежности, она топила в ней себя, предательницу, и ласкалась к нему, вдруг начинала готовить или говорила: «Давай я тебе рубашки постираю». Он удивлялся: «Что это с тобой?!» – «Ничего, ничего, ничего».

Балыкина сняла с полки лучистую снеговую шляпу – всякий раз, приезжая к Наде, она примеряла шляпы, – на этот

раз шляпа оказалась горячей, она сорвала ее с головы и швырнула на стол.

– Ну и как вы – не разбежались еще?

– Пока нет. Замуж вот зовет...

– Что ж... Попробуй – попробовать не мешает.

Светка ей не верила, и Надя чувствовала себя лгуньей. Она не выдержала пристального Светкиного взгляда – отвела глаза и засмеялась наигранно:

– Зачем это мне?..

Она всегда говорила, что замуж не собирается, что это не для нее. И вот теперь представился случай доказать и себе, и всем, что говорила правду.

– Ох, Чекмарёва!.. – покачала головой Светка, но, поверила она или нет, Надя не поняла.

Балыкина ушла, а Надя долго еще перебирала в памяти их разговор, сердилась на себя – зачем стала доказывать то, что в доказательствах не нуждалось, доказывать, что он ее любит? И, доказывая, опять начала сомневаться.

Семён в самом деле уже много раз звал ее замуж, а она увиливала от ответа. И потому, что говорила всегда, что не выйдет замуж, и потому, что боялась: печать раздавит любовь, и потому, что... он был нищим. Деньги, с которыми он приехал, давно кончились. Чем меньше шляп и сумок появлялось в доме, тем голоднее они жили. Он готовил еду – кормил ее, – но и она... кормила его. Они жили на то, что она зарабатывала. А как будет дальше? Они не говорили про это.

Она отбрасывала от себя эти мысли, точно отвратительных жаб, но время от времени жабы садились ей на сердце. Надя знала, что, когда жабы сосут сердце, становишься уродкой, и, недолго думая, стряхивала их на пол.

Еще не все жабы ускакали, как дверь отворилась – и вошел он, а с ним, а за его спиной...

– Романыч!

Закрывая дверь, Семён придавил одну из жаб, но ничего не заметил.

– Вот, встречай гостя! Не говорил – хотел обрадовать.

Романыч, лучший друг Семёна, приезжал в мае.

Домик над водопадом стал теплым домом, и они перебрались туда. Он стал лубочным домиком, по трубу затянутый цветущей глицинией с таким тонким ароматом, что Кокко Шанель удавилась бы петлей цветущей лианы: повторить запах глицинии было невозможно.

Каждый был занят своим делом: он писал, Надя вязала. В окно, не заслоненное ни деревцем, ни кустиком, был виден изгиб далекой горы Змейки. Домик окнами был развернут к пропасти, домик плыл над горами; и откуда-то – из лесу ли, из сада ли – доносился наждачный стрекот древесных лягушек, казавшийся ей пением древесных ангелов.

Романыч ей не понравился тогда. Он был откровенно некрасив, некрасив явно и скучно: сивоволосый, щуплый, шукшинское испитое лицо, сутулая мальчишеская спина.

Надя не разглядела тогда его глаз – глаз Пьеро.

Романыч не понравился ей тогда – потому что явился он не один, а с двумя девушками, и одна из них была красавица. А Надя, как назло, сидела растрепушкой: в старом, рваном халате, с лицом бледным и расплывчатым – и представить нельзя было, что она способна превращаться в фараонову дочь! А всё он – торопил ее: скорей да скорей, пора обедать. Обычно-то она выглядела в его доме довольно прилично – потому что всё-таки приходила сюда как в гости, ведь ей было откуда приходиться сюда.

Во время объятий и почти слёз, во время: «Ну пропал, ну пропал, ну закопался... Еле ведь отыскал тебя, чёртушку». – «Нужно было, пойми, нужно было...» – Марина и Лида, как и Надя, сидели смиренно в сторонке.

Солнце укатилось за Змейку, когда, как водится, сели за стол.

Семён говорил потом, что он должен был развлекать гостей, Надя-то дома, а им небось неуютно было, неловко – Романыча-то едва знают, завез куда-то к чёрту на кулички и внимания на них не обращает; да если бы он еще молчал – что бы они подумали...

Развлекать он стал красавицу Марину. Но он был нехорош сегодня. (Он мог быть то прекрасным, то некрасивым – то светлым, то тусклым, Надю всегда это поражало; что было причиной этих превращений – освещение ли, его ли настроение или ее настроение, она не знала.) Сегодня он был нехо-

рош, и ничего ему не удавалось. Красавица не обращала на него внимания, она ни на кого не обращала внимания – молчала, почти не ела, лишь время от времени, когда ее оставляли в покое, быстро-быстро хрустела свежим огурцом.

– А хотите, я вам спою? – догадался он и схватился, как за спасение, за гитару.

– Спойте, – пожалала красавица плечами.

Но и песня ему не удалась.

Надя смотрела на него – совсем потускневшего, – и сестринская, материнская какая-то жалость захлестнула ее. Господи, как он был уродлив: большой, губастый, лохматый – рядом с маленькой мадонной Мариной!

Мадонна... С поджатыми губками и взглядом умирающего карася. Чего ей надо-то, этой рыбе, зачем она притащилась сюда? И как она смеет так смотреть на него: будто он пустое место, будто он ничто, будто он – это не он, не тот, кого она, Надя, так любит, кого любить – такое счастье и который любит так, как не любит никто! Как она смеет, эта дурочка...

Окно распахнули – Змейка родила луну, которая повисла в окошке, и древний аромат глицинии медленно закружился по комнате.

Романыч сидел в углу – читал рукописи Семёна, а тот всё еще пытался развлечь Марину. Предоставленная самой себе, брошенная всеми Лида сердито спросила Надю:

– А вы любите «Болеро» Равеля?

– Что? – удивилась Надя и, наткнувшись на *знающий* Лидин взгляд, тотчас поняла, что она, Надя, в этой глуши, в этом фланелевом, вытертом на животе халате, со своей профессией надомной вязальщицы, никак не может знать ни «Болеро», ни Равеля, а Лиде только этого и надо, и Надя неуверенно кивнула – кивнула так, словно была в сговоре с Лидой, словно вот она кивает, что, да, любит, а на самом деле не знает ни Равеля, ни «Болеро». И Лида отвернулась, удовлетворенная, и повеселела, и пошла и села рядом с Мариной.

Надя осталась одна – у открытого окошка, лицом к лицу с вскарабкавшейся повыше луной. Семён с Романычем ушли провожать девушек. Надя услышала два голоса: они курили на крыльце. И вот друзья вошли в дом, и Романыч, швырнув в окно пустую бутылку, воскликнул: «А вот теперь будем гулять!» И стали гулять.

Надя очень гордилась тем, что они приняли ее в свое мужское братство. С Романычем ей было легко и просто – ей казалось, она встретила давнего, утраченного когда-то друга, встретить которого уже не надеялась. И вдруг он – тут! Романыч, которому она тоже не понравилась с первого взгляда, потом – опять-таки – ощущал всё совершенно так же, как она. Говорил: «Какой ты товарищ-то надежный, Надя!» – и глаза его, глаза Пьеро, лучились. Он говорил Семёну, что ему повезло, что Надя – чудо, что не отправиться ли и ему в какую-нибудь Тмутаракань за спящей царевной. Они пели

втроем песни, которые Надя считала своими и которые, оказывается, были песнями не только Семёна, но и Романыча – их общими песнями. Романыч ухаживал за ней – они оба наперебой ухаживали за ней, – они были рыцарями, а она – прекрасной дамой. Раза два-три в каких-то спорах они с Романычем неожиданно оказались на одной стороне, вдвоем – против Семёна...

И вот еще что Надя вспомнила (против воли, не желая вспоминать): однажды в каком-то серьезном разговоре – а они говорили обо всём – Романыч сказал: «Я уже говорил когда-то, повторюсь: если бы у смерти было имя, то звалась бы она Кассандрой...» – «Как?!» – переспросила Надя. «Кассандра». Она взглянула на Семёна – он опустил глаза на мгновение раньше, чем она.

А еще она позволила Романычу поцеловать себя – на глазах Семёна. Он сказал, когда Романыч отлучился, что она плохо ведет себя, что он боится... Надя усмехнулась, она была довольна – он ревнует. Наконец-то и он ревнует! Пускай, пускай почувствует, каково это.

Случилось это дня за два до отъезда Романыча, Семён с другом сидели за столом – то пили, то пели. Надя, приуставшая, лежала на диване. Она спала и не спала – она была еще не там, но уже не здесь. Она как раз возносилась. Еще пять минут назад она принимала живое участие в разговоре, хотя и перебралась уже на диван, горячилась, пытаясь доказать свое...

Семён ругал Сталина, но защищал Ленина, Романыч ругал всех, в том числе основоположника соцреализма Горького, которого называл почему-то снохачом. Надя пыталась вступить хотя бы за Горького – ей очень нравился рассказ «Страсти-мордасти»... Но тут Романыч упомянул о ленинском указе, согласно которому надо было выловить и расстрелять всех проституток. И Надя, собравшаяся было вернуться к ним за стол, передумала – опустила обратно.

И вот ниоткуда родилась тишина. Семён с Романычем молчали – наступила передышка в долгом их споре, а она, замолчавшая раньше них, возносилась. Ей казалось, она лежит на чьей-то огромной ладони, подрагивающей так, будто локоть, опершийся о твердь, занемел. Она была приподнята надо всем земным, дневным, но не вознесена еще в сон. Зыбкое марево окружало ее. Вдруг сквозь это марево пробилась фраза – она вплыла к ней откуда-то издалека, изуродованная долгой дорогой, казалось, ее пропустили сквозь извилистые трубки валторны. Вначале она не поняла ее смысла.

– Как там она? – это говорил он. И после века молчания: – Всё с ним?

И тут же ладонь, на которой она возносилась, перевернулась – сон разбился вдребезги. Она совершенно очнулась, но глаз не открыла.

Видать, Романыч кивнул на нее. Видать, он обернулся и посмотрел, и сказал:

– Спит.

Вот тогда-то она и позволила Романычу поцеловать себя. (Только ли поэтому?) И она видела, что нравится Романычу. И Романычу не хотелось уезжать. Он сказал, что вернется. И вернулся.

Но как вести себя с ним?.. Она уже забыла состояние, в котором жила тогда, она изменилась, а Романычу, конечно, захочется видеть ее той же. Тогда Семён не бросал небрежно фотографий Гудрун – теперь бросает. Тогда Семён не предлагал ей замужество – теперь предлагает. Она уже свыклась с тем, что Романыч исчез из ее жизни навсегда, а он тут как тут. И вот, несмотря на отсутствие каких-либо «за», она рада, непозволительно рада Романычу. Рада видеть эти печальные глаза Пьеро.

– Представляешь, этот негодяй остановился где-то в городе. Он, видите ли, будет навещать нас.

– Романыч, как тебе не стыдно?! Мы тебя не отпустим...

– Нет, нет, нет. Я буду приезжать, правда. Я приеду.

Он приехал через два дня. Семён сидел в домике у водопада, Романыч, не заходя туда, свернул к ней. Надя накормила его и села за работу. А он не уходил.

Он смотрел, как она вяжет, молча, не отрываясь, смотрел на ее руки. Надя забеспокоилась. Комната преобразилась, стала вдруг неуютной, даже чужой и страшной. Надя стремительно – всё убыстряя темп – вязала. Она чувствовала: вот сейчас молчание будет разорвано, как пузырь, и ро-

дятся слова. И их уже не затолкаешь обратно – нужно будет отвергнуть их или принять, а обратно их уже не затолкать. Слова-дауны. И она, она всему виной! И придется потом жить с этим – она закусила губу, так ясно ей представилась эта кошмарная, кровосмесительная, предательская и оттого до дрожи, до бесстыдства пронзительно-сладкая сцена: Романыч отбрасывает шляпу, которой она прикрывается, расстегивает халат и, глядя прямо ей в зрачки этими своими узкими, в припухших веках, глазами, медленно, очень-очень медленно...

Надя остановилась и твердо сказала, что нужно, пожалуй, идти к Семёну, но Романыч заговорил одновременно с ней. Он произнес:

– Хочешь... увидеть Гудрун?

– А разве?!

– Она здесь. В городе.

Надя, разом остыв, шла с Романычем к остановке. Встречные оглядывались, шептались, внутренним слухом она слышала: «Это что ж? Нового, что ли, завела? Видать, да. Тот-то повыше вроде будет и такой... бычара. Дикарь тоже: не видать и не слышать. А этот тощенький какой. Страшон-то, страшон... И где она их только берёт?..»

Сели в автобус. Больше всего она боялась, что попадет тот автобус. И попался. Постаралась увести Романыча подальше от задней двери. И на выход пошли в дверь переднюю. Слава Богу, всё обошлось: Романыч ничего не заметил.

Сердце ее колотилось в предчувствии события. Семёну не сказались – уехали тайком. Гудрун, которую она так хотела увидеть, но... если бы это случилось месяца два назад. Сейчас ее ошеломление было отчасти преувеличенным, и частичка эта, излишек этот – для Романыча, ему хотелось поразить ее, и он ее поразил.

Дом был – одноэтажный под снос барак, зато в самом центре города, напротив новехонькая гостиница «Москва».

На улице жара, а в комнате – большой, захламленной, с щелястым полом, крашенным еще при царе Горохе, – прохладно. Гудрун не было. Зато был Лёва – тот, к которому она ушла. Романыч представил Надю как свою девушку. Лёва – рыжебородый, с быстрыми глазами – поил их ледяным квасом. Оказывается, он хорошо знал Романыча. Надя ни на кого не глядела, рассматривая узор на фарфоровом бокале.

Из коридора слышался голос: с легкой хрипотцой, но странно нежный, завораживающий. С кем это она? С хозяйкой?

Надя избавилась от бокала – поставила его поскорее на столик, всё-таки так надежнее. Не хватает еще облиться квасом или чашку расколотить. Дверь открылась...

Да, высокая, да, блондинка, да, не очень молодая. Совсем не молодая. Загорелая. Ноги красивые, длинные. Лицо: глаза, брови, ресницы – одного цвета. Ничего особенного.

Походка легкая, умеет подать себя. Он говорил: женственная. Ну и пускай.

– Романыч, ну где ты пропа... Извините?

– Это – Надя.

– Очень. – И к Лёве: – Ты купил то, что я просила? – И, незаметно кивая Романычу: – Ничего девушка.

Солнце скатилось за море, с улицы доносился шум машин, в углу магнитофон голосом Розенбаума пел об осени, свет не включали, сидели у окна.

Надя не слушала, о чём они говорят, и сама не говорила ни слова – мечтала только поскорее выбраться отсюда. Не надо, не надо было приходить сюда! Как может Романыч так спокойно говорить с ними?.. Ну ладно, посмотрела на «красавицу» – и будет, пора домой. Семён там один. Уже темнеет – потеряет ее. А сама сидела, будто пригвожденная.

Время от времени Надя прислушивалась – не заговорят ли о Семёне? О Семёне не заговаривали. Когда обращались к ней, отвечала: «нет», «да», «не знаю».

Время от времени взглядывала на Гудрун, глядела, как она, откинувшись, хохочет – вот так же на фотографии, курит – сигарета сунута в мундштук, садится к Лёве на колени, закидывает ногу на ногу, обнимает его. И Надя была такой – в семнадцать лет, когда хочется продемонстрировать себя миру, которому нет до тебя дела. Но Гудрун-то не семнадцать, раза в два больше – тетка уже здоровая. Женственная... Вульгарная она, а не женственная! Как он мог...

– Наденька, ну что вы на меня так смотрите?..

Надя вздрогнула.

– Просто... пора уже... домой мне пора. Пойду.

– Нет, нет, нет, ни в коем случае! – Гудрун соскочила с Лёвиных коленей. – Романыч, не пускай ее! Он нам говорил, что вы чёрт знает где живете – с волками, с шакалами, в горах. А уже ночь. Оставайтесь у нас, место найдется. Романыч, не пускай ее.

– Гудрун, перестань! Они сами знают.

Надя видела, что Романыч колеблется. И встала.

– Нет, Гудруша, нам вправду пора, – сказал Романыч, поднявшись вслед за Надей. – Родители... беспокоиться будут. В другой раз.

Шли по улице молча. Надя ни о чём не спрашивала. Только всё прибавляла и прибавляла шаг. На последний автобус еле успели.

Семёну Романыч сказал, что повез ее развлечься. Сам днями и ночами пишет – на прозу, что ли, перешел? – и человека держит в четырех стенах. Кто такое выдержит?!

...Полумрак. Лампа горит на столе. За окном – стрекот цикад, сидящих на верхушках деревьев. Семён нагибается, целует ее и встает. Надя опирается локтем о подушку, смотрит на него. А он, не одевшись как следует, лишь накинув на плечи рубашку, стал вдруг пятиться к двери, глядит на нее – прямо в глаза ей – и пятится. Надя не может понять, что это с ним. Она хочет спросить – и не может: губы светло судорогой. А он допятился уже до конца комнаты, поднял ногу, брыкнул дверь. И исчез. Надя всё так же опиралась

на локоть и глядела в дверь, за которой он скрылся. За дверью что-то происходило: какой-то шорох слышался оттуда, и еще шепоток, и сдавленный смех. Надя в ужасе смотрела туда. Дверь бесшумно отворилась – и в ней появился Романыч. Надя натянула на себя одеяло. Что это?.. Значит, и он... предал ее? Отдал Романычу. Романыч секунду помедлил в дверях и шагнул в комнату. Он шел к ней, и у него были вставные глаза. Эти чужие на его лице глаза она уже видела когда-то – страшные, черные, слегка косящие. Романыч дошел до ее постели. Романыч протянул к ней руку... Надя забилась в угол и закричала. И проснулась. Долго не могла поверить, что это только сон.

Романыч пришел перед самым отъездом.

Окна были распахнуты в ночь, о крышу дома скрежетала неумолимая ветка; на землю время от времени шлепались переспевшие груши, обряженные в желтую, со старческими пигментными пятнами, жесткую кожуру; сквозь сеть тюля пытались пробиться к свету ночные бабочки с присыпанными седой пудрой крыльями.

Они сидели за столом – у каждого была своя сторона стола. Настольная лампа горела в углу. Песен сегодня не пели. Романыч бродил по комнате – изломанная тень Пьеро металась по стенам.

– «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас!» Господи, нена-вижу, как я их ненавижу! Что они сделали со страной?! – Он полуплакал, обнажая в улыбке хилые зубы.

Семён принялся читать стихи:

*Бывают ночи: только лягу —
в Россию поплывет кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.*

*Проснусь – и в темноте, со стула,
где книги и часы лежат...*

- Спички! – обернулся к нему Романыч.
- Что? – переспросил Семён.
- Не книги – спички, понял?

*где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
горит горящий циферблат.*

– Глядит – не горит! Дырявая башка... Башка у тебя, что ли, дыр-рявая?!

Семён взглянул на него:

- Ну, давай ты, Романыч, дочитай ты. – Печаль закачалась в его глазах, он не смел посмотреть на Надю.
- Не могу. Не хочу сегодня.

*Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звёзды, ночь расстрела*

и весь в черемухе овраг.

Семён открывал очередную бутылку. Бабочка, скользя мимо Надиного лица, коснулась его пепельным крылом, оставив легкий налет тления.

Романыч сел на место. Взял стакан, доверху наполненный портвейном, выпил и, не утерев бордовых усов, произнес:

– Помню, Лесовский, как тебя били в институте...

– Перестань! Ты пьян. Не надо...

– Перестать? Ну ладно, – тотчас смирился Романыч.

И вновь искалеченная тень Пьеро стала метаться по стенам, по потолку.

Надя молчала. После того дня... той ночи глаза Пьеро постепенно, точно улыбка Чеширского кота, стали исчезать из ее души, от них осталась только тень глаз.

Пьеро на стене замер. Она подняла голову: Романыч заглядывал ей в глаза.

– У вас... – Семён сдавленно усмехнулся, – у вас... глаза одина... одинаковые.

– Да! – почти выкрикнул Романыч. – У нас одинаковые глаза. – И опять он глядел на Надю. – Наденька, брось ты его... Поедем со мной! Разве он поэт? Ты его больше слушай. Поэт... Дерьмо он, а не поэт.

– Романыч, ты пьян! Ты пьян, Романыч, перестань.

– Он тебе свои стихи читал? Вот видишь... Не верь ты ему, ни на грош не верь! Ничему не верь: у него ведь слова

одни, всегда только слова. И если всех словоблудов величать поэтами... А мне товарищ один написал: живи с надеждой! С Надеждой, Наденька, понимаешь?.. Это перст судьбы. По-едем со мной...

– Романыч, я ведь тебя очень люблю...

– Значит, не пое...

– Уходи! – Семён вскочил. – Уходи, Романыч, это невыносимо! Ты кого хочешь выведешь из себя... Уходи.

– Да? – Пьеро на потолке задумался, качнулся к выходу и исчез.

Семён и Надя молчали. Не глядели друг на друга. Ветка скрежетала о крышу, с верхушки старой груши подавали знаки цикады.

– Не верю я друзьям, – говорил он на следующий день. – Никому больше не верю. Нет у меня друзей: один отнял у меня любимую женщину, другой пытался... Никого у меня нет, Наденька, кроме тебя. Не бросай, не покидай меня.

– Смешной, – говорила Надя, прижимая к себе его голову.

– Я сомневаюсь, Надя. Я боюсь, что... Романыч прав, и я дерьмовый поэт.

– Не верь, не верь ты ему...

– А он талантлив, Господи, как он талантлив, если бы ты только знала...

Но всё улеглось, и дни потянулись серой вереницей. Опять он сидел и писал, опять Надя вязала, опять была жар-

ная картошка. Те несколько капель сомнения, которые еще оставались в ней, исчезли после этого второго приезда Романыча. Семён любит ее. Если и Романыч полюбил ее... то, значит, Семён в самом деле любит. Всё хорошо. Всё ясно.

Дни становились всё жарче. Он опять звал ее замуж, она опять увертывалась от ответа. От шляпного узора рябило в глазах – на всём лежала туманная кружевная решетка; приходилось надолго зажмуриваться, чтобы отвязаться от нее, чтобы вернуть себе ясность зрения; от постного масла у нее была изжога; ночью она плескалась в его руках ленивой рыбой.

– А ты... Гудрун изменял, да? Любил и изменял?

Он, задумавшийся о чём-то своем, вернулся сюда, к ней, сказал:

– Ты что... дневник мой читала?

– Я? – Надя была оскорблена. – Ты сам говорил, сам когда-то говорил...

– А?.. Там... другое было, там всё было по-другому. И прекрати ты наконец откапывать трупы. Не понимаю: зачем тебе это надо?

...Надя лежала и глядела в пейзаж на стене: волшебная дорога плыла к холмам. Хотелось туда. Она устала быть здесь. Хотелось чего-то. Чего? Она не знала. Раньше думалось – любви.

Ее дорога упиралась в его калитку: арматурная дуга за-

плетена растением со странными синими цветами под названием «кавалерская звезда», зеленый френч усажен кавалерскими звездами снизу доверху.

Его не было дома. Опять уехал в город – говорить с Москвой. Вроде что-то определилось с его стихами – обещали напечатать. А он всё не показывал ей свои стихи. Почему?

Надя подошла к его столу – над ним он нависал, точно орлица над гнездом.

Нерешительно выдвинула ящик – там, на дне, под кипой тетрадок хранилась когда-то фотография Гудрун. Теперь ее не было. Сверху лежала большая – величиной в две обычные – тетрадь в коричневом переплете. Надя задумалась. Никогда она не трогала его бумаг. Но почему он не хочет показать ей свои стихи? Это же не тайна – он же печатать их будет. Или... он думает, она не поймет?! Надя подбежала к двери, выглянула на дорогу и вернулась к столу. И открыла тетрадь. Веером взметнулись страницы, глаза ее поймали: «Гудрун для меня...» – она захлопнула тетрадь. Дневник?!

Уйти, немедленно уйти. Закрыть дверь на ключ и сидеть дома. «Гудрун для меня...» От калитки она вернулась. Он решил вчера, что она читала его дневник... Раз он думает, что она способна на такое, то она в самом деле способна.

Надя открыла тетрадь, лихорадочно пролистнула страницы – он вел дневник время от времени, здесь были еще школьные записи. Прошелестели десять лет. Февраль нынешнего года.

Он писал о литературе, всё о литературе: Набоков, Гумилёв, Бунин, Ходасевич... Вот – о том, что не выдержал, уехал из Москвы, февраль кончается – о ней, Наде, ни слова.

Март, восьмое число.

Он писал, что решился. Пусть ей будет приятно – вдруг ей некому подарить цветы... Надя думала, он пишет о ней, и вдруг: Лёва ведь часто уезжает. А он, Семён, всегда дарил ей цветы, тем более в праздники. Он позвонил Романычу, Романыч согласился; он истратил последнюю десятку, купил красные тюльпаны – она любила их больше других цветов, это были их цветы, цветы их любви. Поехал в аэропорт и послал ей цветы самолетом. И несколько дней думал, как Романыч вручил ей эти цветы, не сказав ничего, как она их увидела – и всё поняла.

Надя откинулась на стуле. Леденящее спокойствие сковало ее. Она вспомнила крашенные цветы, которые он подарил в тот день ей (наверное, мелочишка от десятки осталась!), и зажмурилась, сгорая от стыда и унижения. (Да, и еще: в тот день он взял деньги у нее – мол, обязательно отдам. Так и не отдал.) Она ненавидела его лютой ненавистью. Для нее всё то, о чём она прочла, происходило сию минуту, она забыла о времени. Как он лгал, как он лгал!.. А она-то, дура, верила ему! «У него нет ни слова правды», – вспомнила слова Романыча. И этот еще... Предатель! Она забыла, что Романыч и не знал ее тогда.

В апреле он написал наконец про Надю. Что любит ее так,

будто она его маленькая дочь, что у него такое чувство, будто на нее всё время хотят напасть, и ему нужно спасти ее, что ей часто снятся какие-то чудовищные сны, и он не спит по ночам, плачет, глядя на нее. И в апреле же: о роковой своей страсти к Гудрун: «видно, мне суждено умереть с этим».

Надя листала дальше. Опять о литературе, о том, что всё лучшее было сосредоточено в эмиграции... В мае еще одна запись: он писал, что привык к Наде, привык так, что жить без нее не может, отлучился на каких-то два дня – весь извелся. Как это назвать, он не знает.

О Гудрун в мае не было. На мае записи обрывались.

Надя захлопнула тетрадь.

Значит, он привык к ней. Гудрун любит, а к ней привык... Щёки ее алели, будто по ним хлестали красными цветами – крашеными цветами. Крашенные фальшивые цветы... Крашенные фальшивые слова... Крашенная, насквозь фальшивая любовь.

Она не плакала.

Скорей, скорей бы он приехал! Она готовила такой взрыв, какого еще не видел этот сад.

Но тут она вспомнила, что он заканчивает поэму, которую хотел включить в книгу, от стола, чтоб ехать на эти свои переговоры, едва оторвался. Выходит, надо дожидаться, когда он допишет, – и тогда... Ну хорошо, она подождет. Вообще-то ей спешить некуда.

Она подивилась своему благородству – какая бы еще по-

ступила так на ее месте? Но тут ей представилась хохочущая Гудрун – в шортах и красной майке – на коленях у Лёвы, как она говорила Романычу: «Не пускай, не пускай ее», – и она вспомнила: Гудрун с Лёвой переглядывались, когда она отстранялась от рук Романыча. Они поняли, что она не его девушка, и, может быть, они даже поняли, чья она девушка. «Не пускай, не пускай ее!» И Надя откинула гордо голову и слепила тесно губы. Роковая страсть. Прекрасная Гудрун. Красные тюльпаны. Тьфу!

Вечером она была у него. Лежала на диване; он сидел, пил чай, звал ее – она отнекивалась. Он рассказывал, как съездил: пока всё хорошо, чем чёрт не шутит, авось удастся протолкнуть книжку. Он смолк на полуслове, подошел к ней, сел рядом, протянул руку, чтоб погладить по голове. Надя отстранилась. По головке погладить – как маленькую...

– Что-нибудь случилось? – спросил ласково. Она мотала головой отрицательно. Он наклонился над ней совсем близко: – Наденька...

Она посмотрела ему в глаза – он отшатнулся, встал, прошелся по комнате.

– У тебя такой взгляд... Надя, что случилось?

Она, памятуя о своем давешнем решении подождать, пока он не закончит поэму, молчала. Он не настаивал. Но громовое ее молчание было – те же слова. Она крепилась, она не хотела – слова сами хлынули из нее, сметая всё на своем пути.

Он криво усмехнулся:

– Дневник, мой дневник... Все женщины одинаковы. А я-то так в тебя верил!

– Я тоже верила!

И взрыв произошел.

Он закрыл голову руками, защищаясь от осколков.

Наконец наступила тишина. Он опустил руки.

Надя выдохлась, ей вдруг всё надоело: несколько часов, ну дней ссоры – и потом мир, этим всё кончится, и он знает об этом, и она знает... Захотелось уснуть, как раньше. Всё бросить – и уснуть.

Он говорил: это было давно. Тогда он действительно любил Гудрун. И разве он не говорил ей этого? (Говорил... Но ведь хотелось верить.) Но теперь всё изменилось – теперь он и думать о ней забыл. Это было как болезнь, темная болезнь: он унижался, он был смешон, он был страшен. А теперь он здоров. То была темная любовь, не любовь даже – он не знает, как назвать... (Опять он заговаривает ей зубы.) А сейчас с Надей всё по-другому. (Конечно, она же дитя для него...) И он ей не лгал – Господи! он не лгал. И пусть она простит его – не его нынешнего, а того – прошлого, который тогда, в марте... еще не любил ее...

Надя тревожно ждала, но нежности – нежности не было, нежность не оживала.

И она опять стала говорить о том, как ревновала его к Гудрун, а потом, а теперь... успокоилась. Дура, дура... Ре-

шила, что...

– А ты думаешь, я... Я не ревновал тебя всё это время?! Думаешь, мне приятно было знать, что у тебя... было столько? Зачем ты мне об этом рассказала?!

Надя нащупала ногами туфли, встала с дивана и, не взглянув на него, вышла, хлопнув дверью.

Назавтра Надя еще думала, что это обыкновенная ссора, одна из ссор. Она стала вспоминать вчерашнее и вдруг поняла, что забыла его лицо. Точно она не видела Семёна много лет. Она удивилась: что это такое?

И почувствовала вот что.

Она сосулька, огромная сосулька, повисшая под крышей пятиэтажного дома: внизу идут вереницы людей, заворачивают к двери, поднимаются по ступенькам булочной.

И вдруг от нее отрывается капля – часть ее, ее плоть и кровь; этот отрыв она ощущает всем телом, всем своим напряженным телом: они еще соединены, узенький мостик между ними еще сохранился, они еще вместе, они еще одно целое, но вот последнее предсмертное касание – и капля оторвалась. И полетела вниз – вниз, вниз, всё вниз, – в прошлое, она видит, как капля летит – прозрачная, с чертами его лица. Капля не успела разбиться – Надя очнулась.

Она всегда воспринимала их ссоры, предчувствуя будущее, она не мыслила своего будущего без него, а сейчас она увидела его полёт в прошлое, она ощутила, как он становится прошлым.

Она стала вспоминать всё с самого начала, с февраля, будто прощалась с этим навеки. Будто продолжения не будет.

Надя силилась вернуть его лицо – и не могла, лицо его стиралось из ее памяти, кто-то огромным ластиком тер задумчиво по его лицу, выступающему из темноты. По волосам, лбу, глазу – наискосок; часть лица еще сохранилась, а рядом зияла пустота.

Он уходил из нее.

Нужно было встать и всего только пройти сотню метров – и вот он, живой, в настоящем...

Он обернулся от окна, повисшего над пропастью. Она взглянула на него и ужаснулась: она увидела сатира. Не молодой бог или некрасивый любимый (он умел быть то тем, то другим) – сатир. Она вдруг увидела, что у него непропорционально большая голова в вихре нестриженных волос, он коротконог, толст. Она вдруг вспомнила его ночную улыбку – улыбку во время смерти, улыбку сатира – и вздрогнула.

Она увидела сатира и в ужасе отшатнулась. Это был ужас, смешанный с жалостью и надменным злорадством.

Назавтра она пришла к нему и сказала:

– Женское самолюбие – ты должен понять... Видишь, самолюбие оказалось больше любви – я разлюбила тебя. Нам нужно расстаться.

Он упал на колени, он плакал – она была непреклонна. Он хотел петь ей песни...

– Оставь, – махнула она рукой. На голове его, клонившей-

ся к ее коленям, ей померещились рожки.

– Надя, Надя, опомнись! Опомнись, Надя! Прошу тебя: подумай как следует. Подумай еще. Я не смогу без тебя. Я не смогу, сможешь ли ты?.. Не играешь ли ты?.. Не липовая ли это трагедия?.. Надя! Подумай еще. Не придется ли потом жале-еть?!

Надя засмеялась. Она была спокойна.

Назавтра она забежала к нему – чтоб посмотреть на него, чтоб узнать, что чувствует теперь. Всё было по-прежнему: он был сатиром, она была спокойна.

Она приходила каждый день и, побыв у него минут пятнадцать, убегала.

Она приходила посмотреть, как – теперь – к нему относится. Проверяла, вправду ли разлюбила. И уходила, удовлетворенная. Ее тянуло к месту бывшей любви, как к месту преступления.

У него оставалось много ее вещей, по пути она уносила их; но жизни их, быт их так переплелись – что-нибудь обязательно оставалось, что-нибудь она обязательно забывала. Не нарочно. Она забирала тапочки, в следующий раз – «Пана», потом – тушь для ресниц. Она почти ничего не говорила – только смотрела на него. Он ежился под ее взглядом.

Но вот ничего принадлежащего ей у него не осталось. Ей больше незачем стало ходить к нему. Назавтра она к нему не пошла – и затосковала. Оказывается, эти хождения успели превратиться в привычку.

Она не ходила к нему несколько дней и вся извелась. Почему бы ему не зайти к ней за чем-нибудь?..

Чего она хотела? Она не знала.

Она попыталась вернуть то первое впечатление после прочтения его дневника – лютую к нему ненависть – и не смогла. Она стала вспоминать, какой была пошло-самоуверенной, спокойной: он ее любит, всё хорошо. И чем всё кончилось?.. Прекрасная дама... смешно. Стала вспоминать все свои ревности, всех этих Ирин-Марин и так далее – эдакая пирамида из женщин, с Гудрун в тюльпановом венке на вершине. И как он сердился, что она эту пирамиду хочет разрушить! Разве он понимал ее? Разве он понимал, что Надя ревновала так, точно она была единственной представительницей рода, которого и он – единственный представитель? А когда он был с другой, а если он был с другой – это было всё равно, как если бы он был с какой-нибудь шимпанзе, пантерой или курицей. Это было совершенно одинаково для нее. Ее бы вырвало в любом из этих случаев. Он был Адамом, она была Евой, они были единственными. Разве он понимал это?

А прошлое?..

Прошлое – оно и есть прошлое. Прошлое – оно как сон, было или не было – нельзя сказать наверняка. Мало ли кто прошел по нашим снам? Прошел и ушел. Забыть, забыть... А он не хотел забывать. Он берёг в душе старый, покинутый рай. Он время от времени туда возвращался, втайне от нее, оставлял ее одну, они были вместе, но это была одна только

видимость – она была одна и ничего не знала про это. У нее никогда не было своего – только ей принадлежащего – Адама, своего рая, и она возненавидела этот его покинутый рай (или рай, который его покинул).

Так она думала и вдруг вспомнила, что голубая его рубашка осталась у нее, – висит на плечиках под серебристо-розовым платьем. Она вытащила ее на свет божий – нисколько не помята. Нужно было немедленно вернуть ему его рубашку.

Он сидел за столом. Он работал?! Еще ни разу за две эти недели она не заставляла его работающим...

– Я рубашку принесла.

– Хорошо, положи.

Он не смотрел на нее.

– Ты пишешь?..

Он не приглашал ее сесть.

Окно было раскрыто, солнечные лучи освещали его – в волосах его змеились радуги. Ей захотелось коснуться его волос рукой...

Она растерялась – и стала рассказывать о том, как почувствовала себя сосулькой, глядела на него как на прошлое, он живой – и будто мертвый, с которым не может быть будущего.

– Умоляю тебя! – Он повернулся к ней, и она увидела: лицо его прекрасно. Он точно в трех котлах искупался: в воде холодной, в воде горячей, в кипятке... – Умоляю тебя: перестань. Не мучай меня. Я только-только начал успокаивать-

ся. Ты приходишь, чтоб увидеть, какой я отвратительный. Я мерзок, противен тебе – прошу тебя: не ходи больше, не мучай меня! Неужели ты не видишь, как мне больно...

Она не верила, не хотела верить.

На диване лежала смятая голубая рубашка – в ней он был тогда, зимой, когда она впервые пришла к нему. Она взглянула на него исподтишка – и вдруг нежность, сходная со сладким ужасом, поднялась откуда-то из глубин. Надя замерла, прислушиваясь.

Значит, ничего не кончилось?!

Надя вернулась домой и всё никак не могла прийти в себя. Его лицо опять сияло ей из темноты, чья-то добрая рука вновь вырезала на ее сердце черты его лица.

Назавтра Надя не пошла к нему.

Решилась пойти только на следующий день. Она ведь не могла упасть на колени – она не знала, что ей делать: вдруг он не захочет с ней разговаривать? Потом подумала: он посмотрит на нее – и всё поймет.

Надя собралась и взглянула в зеркало: оттуда глянула на нее египтянка, малолетняя дочь фараона. Это было кстати. Она присела на дорожку и пошла.

Постучала (она теперь стучала к нему) – никто не открывал. Толкнула дверь – заперто. Ну и хорошо – она подождет его. Он увидит ее у себя – и сразу всё поймет.

Ключ был на старом месте: под прогнившей половицей, на крыльце. Дверь знакомо скрипнула. Она будто возвращалась

после долгого отсутствия.

Он что – опять не работает: стол, обычно заваленный бумагами, пуст. Почти пуст. Один-единственный листок лежал на нём, но сквозняк подхватил его и бросил к ее ногам.

Надя, уже всё поняв, но ничему еще не поверив, наклонилась за письмом. На листке было:

«Надя, я уезжаю. Я не могу так больше. Поверь: я не лгал. Я люблю тебя. Прости».



Прознав о приезде матери, пришла Наталья Ивановна. Давным-давно не показывалась она у них в доме. Когда был он – был, – она заходила всего только раза два, из чистого любопытства.

Надя лежала на диване – глядела в окно. Шторы сняли, чтоб постирать, – комната сразу стала просторной. Мама наводила порядки: железные кровати, так и простоявшие всё лето в доме, вынесла зачем-то в сарай. Зачем? Наде они не мешали. Мать приехала только так – проведать, собиралась пробыть у Жанки еще по крайней мере до декабря, когда девочку можно будет отдать в детсад.

Надя глядит в окно: листва ближних деревьев темнеет на фоне светлой зелени горы. Самой горы не видно – она только фон для ветвистой хурмы. Надя ни о чём не думает, из кухни доносятся голоса, дверь едва прикрыта. Надя качается на волнах слов, не вслушиваясь особенно в их смысл.

– Ох, Наталья Иванна, ведь как Жанночка живет: квартира у них трехкомнатная, в самом центре, автобусы ходят, троллейбусы ходят, и еще трамваи, на остановке не ждешь ни минуты – всё время какой-нибудь транспорт да есть. Наточка у них – красавица, и умница-разумница, рассуждает как большая. Сам у нее летчик! – Последнюю фразу мама произнесла восторженным шепотом.

Летчик... «Сам» был техником в аэропорту. Смешная, смешная мама! Как ее не хватало Наде!

– Рада, как я рада за Жанночку...

– И не говорите, Наталья Иванна! Вот вроде и... не так чтоб хорошо училась, тихая была, а... А Надюшка-то, – спад волны, – и умница-разумница нахваливали, всё отличницей шла, пока... не сбилась с пути. Ох, горюшка, горюшка было! А потом как засела за эти свои шляпы, господи прости, будь они неладны, вроде кто ее неволит! Сидела безвылазно, носу никуда не казала, заживо себя погребла. А зачем? И не везет девке, никак не везет. Вот с этим тоже...

Надя резко встала, вошла в кухню:

– А... есть еще нечего?

– Сейчас, Надюша, сейчас.

Надя вышла на крыльцо, спустилась к калитке; трусливо оглянувшись на окна дома, заглянула в почтовый ящик. Почту уже принесли – одна газета. Надя растряхнула ее – ничего...

Домой идти не хотелось – мать то и дело трогала не зажившую еще рану, пыталась содрать с нее корочку. Ее можно было понять: ей хотелось знать. А Надя говорить не могла.

Она бродила по саду – тихому, точно задремавшему под полуденным солнцем. Вдоль забора, по склону вверх, параллельно саду шла узкая дорога, уводящая от главной асфальтовой трассы. Сад заканчивался у поворота, дальше дорога круто взмывала вверх, всё сужаясь и сужаясь, и превраща-

лась наконец в стѣжку. Вела тропа к чайным плантациям. Потом, вскарабкавшись на гору, тропинка вновь расширялась в укатанную дорогу, и, миновав чайные ряды, раскинувшиеся по обе стороны от нее, уходила в заповедную неизвестность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.